

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ЛЕОНИД ПАНАСЕНКО
МАСТЕРСКАЯ
ДЛЯ СИКЕЙРОСА



**БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ**





БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ЛЕОНИД ПАНАСЕНКО

МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ СИКЕЙРОСА

*Сборник
научно-фантастических
рассказов
и повестей*



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

1986

ББК 84Ук7
П 16

П $\frac{4702010200-293}{078(02)-86}$ 170—86

© Издательство «Молодая гвардия», 1986 г.



ТАНЦЫ ПО-НЕСТИНАРСКИ*

«Умерла мать похороны 17 приезжай Захарий».

Пять страшных слов оглушили Лахтина.

Как реалист, привыкший понимать мир реально, он знал, что это когда-то случится. Но вот так — внезапно (ведь не болела ничем, не маялась), в разгар весны, которая преображает даже их несчастную Гончаровку, не дождавшись ни его приезда, ни его Победы... Как подло поступает жизнь, черт возьми! И как теперь ни оправдайся, получается, что он кругом виноват. Не ездил, не помнил, даже с праздниками иногда забывал поздравить. Думалось: все исправимо, все впереди... Оказалось — все позади. Оказалось, что он бездушная, тупая, самодовольная скотина! И хоть лоб сейчас разбей, хоть закричи, зарыдай — ничего уже не изменить. Есть факт. Страшный факт, который выбил из-под ног почву. Все кренится, падает, рушится...

Окружающие предметы в самом деле заколебались, как-то расплылись. Лахтин вдруг понял, что это слезы. Катятся беззвучно из глаз, и нет сил ни ступить, ни позвать жену.

Тамара, обеспокоенная его непонятным молчанием, тоже вышла в прихожую. Она тотчас поняла — что-то

* Повесть печатается с сокращениями.

случилось. Взяла из омертвевших рук Сергея телеграмму, одним взглядом прочла текст.

— Господи! — Тамара растерянно перечитала телеграмму и первым делом спросила о том, о чем Лахтин строго-настрого запретил себе думать: — А как же твоя завтрашняя защита?

Он поднял взгляд — тяжелый, горестно-гневный, поморщился, будто жена сказала несусветную глупость. Губы у Лахтина задрожали — вот-вот заплачет.

— Иди в кабинет, прошу тебя, — горячо зашептала Тамара. — Пощади нашу Оленьку. Ты же знаешь ее нервы... Через два дня экзамен, а там аттестат. Ее нельзя сейчас травмировать... Приляг, Сережа, поплачь... Тебе надо все решить, обдумать...

Он лег. Послушно выпил валерьянку, которую принесла жена. Однако никакого облегчения не почувствовал. Сердце по-прежнему жгла боль, десятки провинностей вырастали до размеров горных вершин, грозились раздавить. Но больше всего его приводила в ужас необходимость выбора. Впрочем, о каком выборе может идти речь?! И все же... Да, он презирует меркантильность Тамары, однако завтрашняя защита его докторской диссертации, увы, тоже факт. И факт трудный. Можно, конечно, отменить или перенести даже коронацию, но это только легко сказать. На деле же... Большие дела всегда стоили дорого. В смысле времени, усилий да, пожалуй, и денег. Приглашены нужные люди, заказан банкет на шестьдесят персон, все наперед оплачено. Как быть?! Утром надо встречать в аэропорту академика Троицкого, затем оппонентов... И в то же время утром надо лететь домой. Конечно, Тамара все уладит лучшим образом: и встретит и извинится. Мол, такое горе. Все поймут... Однако год считай что потерян. Пока вновь заведешь, пока настроишь машину защиты... А мама — там... Одна! Нет, не может быть. Там дед Захар. Да и соседки посидят. Поплачут для вида, порадуются тайно, что не их, как они говорят, «господь призвал»...

— Понесли! — твердо сказал Захар мужикам. — Ночью только сволочей закапывают. Нельзя больше его ждать...

Они подняли гроб на плечи.

«До чего легонькая, — подумал Захар, поглядывая сбоку на спокойное лицо Жени. — Иссошила тебя жизнь, а когда — неясно. А ведь такой славной была. И в молодости, и даже когда Сережку женила... Правда, после этого уже лет двадцать прошло. Эх, Женька, Женька. Глупая твоя голова. Наши это годы были, наши, а ты этого так и не поняла. Теперь поздно переиначивать, а все же не стоил твой оболтус того, чтобы жизнь себе из-за него ломать. Вон даже на похороны не приехал, сынок называется...»

Захару показалось, что голова покойной качнулась, будто Женя хотела возразить, но не смогла. Он испуганно прервал мысленный разговор, поднял край гроба повыше.

Что он суется не в свое дело! Может, самолет опоздал или из-за дождя и вовсе полет отменили. А может, Сергей болен. Да так, что в дорогу не выберешься — всякое бывает. Дорога сюда неблизкая: почти тысяча километров до города да от города все шестьдесят. И хотя бы по шоссе, а то все проселками. Тоже можно застрять...

Захар на ходу поправил цветок, который все скатывался с подушки и закрывал от него лицо Евгении. Обугленное смертью, родное и уже незнакомое.

Захар то ли вздохнул, то ли застонал. Многое он на свете понимает, а вот почему их судьба развела? Кто тому виной? Наверное, все-таки он. Поехал на те чертовы годичные курсы, а Женька назло ему замуж вышла. За Тимофея Лахтина, агронома из соседнего села. Он тоже психанул: за три дня уговорил, уломал соседскую Настю, тихую, хозяйскую девушку, косой своей еще тогда Настя славилась. Расплел он ей косу, да деток не пошло, а через два года грянула война. В один день они с Тимо-

феем на фронт уходили. Стоял он с Настеной возле сельсовета, а сам Женю высматривал. И высмотрел. Аж в груди у него заболело от ее взгляда. Не подошла, постеснялась. Слушала своего агронома, кивала, прощаясь с ним, будто чувствовала, что не вернется Тимофей с войны. А ему тем единственным взглядом сказала, что любит по-прежнему, приказала, чтобы выжил и вернулся. Он выжил и вернулся. Правда, после ранения, комиссованный подчистую — при освобождении Киева ему прострелили легкое. Он первым из фронтовиков вернулся в Гончаровку — с двумя орденами и пустым вещмешком. Через месяц, как ни упирался, бабы избрали его председателем колхоза, и начал он как мог восстанавливать порушенное хозяйство, а там подоспело время сеять, и он сутками месил знаменитую гончаровскую глину, пропадал то в поле, то в районе... Как-то ему сказали, что Женя Лахтина заболела. Поздно вечером, возвращаясь с работы, он постучал в ее хату. Никто не отозвался. Он вошел в темные сени, нащупал клямку двери и, распахнув ее, встревоженно бросил в темноту: «Ты дома, Женя? Отзовись». Из угла, где — он помнил — еще до войны стояла кровать, послышался то ли шепот, то ли стон. Он пошел на звук, выставив, как слепой, вперед руки, опрокинул по дороге табурет и с одной горячечной мыслью: «Помирает!» — стал искать Женю, но она нашла его первая — горячая, влажная, слабая. «Ты вся горишь, — испуганно пробормотал он. — Простудилась?» Женя тихо и счастливо засмеялась. Привстав с подушки, она обвила его шею руками, с каким-то отчаянием и неженской силой повлекла к себе, повторяя, как безумная, одно только слово: «Роденький...» Потом, задыхаясь и лихорадочно целуя его, попросила открыть окно. И еще попросила: «Говори. Все, что хочешь, говори. На всю жизнь хочу тебя послушаться...» У него, помнится, кружилась голова, все казалось нереальным: холодная ночь за окном, полная луна, застрявшая в кустах сирени...

Захар качнул головой, отгоняя воспоминания.

Они вышли уже на взгорок, и надо было смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться в этой проклятой глине. Впереди за редкими кладбищенскими крестами замаячила фигура Хитрого Мыколы, который то ли стерег свою яму, то ли хотел прийти на поминки.

«Не скажешь,— мысленно упрекнул Захар Евгению, глядя на ее спокойное лицо.— Тогда не сказала, в сорок четвертом, а теперь и подавно...»

Странно тогда все получилось, непонятно.

Уже отсеялись, сады отцвели. А тут по селу новость: оказывается, по пути в часть Тимофей к Евгении заезжал. Всего на одну ночь. Поговорили, позавидовали ей солдатики, да и затихло.

А к осени вдруг расцвела Евгения, будто цветок. Округлилась, а живот сквозь все пышные сарафаны пробился и закрасовался, заважничал — ну настоящий тебе староста-арбуз на баштане. Не удержался Захар при встрече, спросил: «Кого ждешь, Женя, хлопчика или девочку?» Сам же взгляд ее ловил, тайну хотел выведать. Засмеялась Женя: «Ой, Захар... Все равно одной грудью кормить... Я и вам с Настеной того же желаю». Заступил он ей тогда дорогу, спросил, не скрывая муки своей: «Скажи правду, Женя... Я людей выспрашивал — никто не видел весной Тимофея... Скажи, чье дитя будет?» — «Я Тимофея видела,— твердо ответила Женя.— Понял?! В этом деле третий лишний, Захарушка». И ушла, не рассеяв его сомнений, но закрыв ему накрепко рот — и тоном своим, и насмешкой, а больше всего упоминанием о Насте...

Тимофей так и не вернулся с войны. Женя говорила потом, что дослужился он до капитана, был много раз награжден за храбрость и сложил голову уже под Берлином. Сережа их рос застенчивым и молчаливым, много читал и до того был научен матерью чтить память отца, что, когда Захар через год после смерти Насти попробовал посвататься к Жене, весь в слезах убежал из хаты,

пригрозив, что скорее утопится, чем будет жить у «дядьки Захара».

...Гроб поставили на две табуретки. К Захару подошел председатель сельсовета Кузьма Сорока, кашлянул в кулак:

— Может, ты, Захар Степанович, слово скажешь? Тебе сподручнее — ты и председателем после войны был, да и соседи все-таки...

— Что говорить, — вздохнул Захар и посмотрел на вечернюю Гончаровку: не видать ли где машины, может, успеет Сергей попрощаться с матерью. Нет, не видать...

Поразмыслив, Лахтин, покачиваясь, двинулся вдоль берега. К лагерю! Хватит ему на сегодня приключений.

Он шел эдак полчаса и вдруг провалился по грудь. Ил под ногами продолжал расползаться, и Лахтин инстинктивно рванулся к берегу. В следующий миг он понял свою ошибку — торфяная топь образовалась именно у берега, надо повернуть назад, к песчаной косе, по которой они бродили. Он заработал ногами, но даже зыбкого дна уже не было.

— Помогите! — крикнул он срывающимся голосом, чувствуя, как бурно испаряется его пьяная дурь, а на ее место ледяной стружкой вливается страх. Лес на берегу стоял совершенно незнакомый: гоняясь за рыбой, они, видно, порядочно прошли.

«Меня не услышат! — ужаснулся Лахтин, подрабывая ногами, будто он бежал на месте. — Рядом никого. Голос потеряется в камышах... Господи! Только не это! Погибнуть здесь, в этой черной жиже?! Только не это!»

Он опять рванулся — теперь в противоположную сторону. Подгребал руками, извивался всем телом, однако продвинулся всего лишь на каких-нибудь полметра.

«Надо отдохнуть, — лихорадочно подумал Лахтин. — Если экономить силы, можно долго продержаться... Глав-

ное — не паниковать и беречь силы. Меня почти не засасывает. Хороший пловец из этой хляби легко бы выбрался. А тут трепыхаешься, как муха в варенье...»

Он на время затих.

И тут из сумрачной жижи глянуло на него знакомое лицо. Черное, однако не негроидного типа, с какими-то пронзительно-нахальными глазами. Поразили Лахтина и очки знакомого незнакомца — в белой, как бы раскаленной оправе — резко контрастирующие с его гуталиновым лицом.

— Ты кто? — шепнул Лахтин, с трудом соображая, что у него начались галлюцинации.

— Я — это ты, — отчетливо и громко сказала черная рожа. — С перепугу себя не узнал? Не дрейфь, родственник, выберешься! Я твою судьбу наперед знаю.

— Бред! Чепуха! — мысленно взвизгнул Лахтин, цепenea от нового страха: он где-то читал, что к человеку на грани небытия приходят всяческие видения.

— Да Йегрес я, то есть Сергей в зеркальном прочтении. Мы с тобой двойники. И очень близкие соседи — живем в параллельных мирах, — заявило привидение.

— Антипод? — Лахтин снова отчаянно заработал руками и ногами, надеясь, что призрак исчезнет.

— Чего ты барахтаешься, дурачок? — Йегрес отступил. — Это ты антипод, а я нормальный человек, который многое знает и еще больше может. Я за тобой второй год наблюдаю. И удивляюсь. Бестолковый ты у меня родственник. Везде барахтаешься: в болоте, в жизни. Противно смотреть.

— Ну и проваливай отсюда, — обиделся Лахтин.

— Нет уж! — хохотнул Йегрес. — Пора все-таки тобой заняться. Для начала я тебя из болота вытащу, так уж и быть. А потом и по жизни поведу — ровнехонько, красиво... Слушай, кабан, а ну дотянись вон до того камышового куста. Быстренько! Так... Теперь осторожно освобождай ноги, ложись, ложись, морда, не бойся воды, ложись... Вот так! Ладненько. Подтягивайся, да поти-

хоньку... Потихоньку, тебе говорят, оборвешь все к чертям. Молодец! Захватывай левой стебли... Побольше! Ну, вот... А ты уже пузыри пускал.

Задыхаясь от напряжения, от страха сделать неверное движение, Лахтин попробовал стать и — о чудо! — ноги наконец нашли под илом желанную опору.

Рядом, ухмыляясь, стоял его двойник — Йегрес.

Пробуя дно и обходя подальше гибельное место, Лахтин пошел к берегу. По шишкам, по сучьям, даже по ржавым консервным банкам — он на все согласен, лишь бы не подступала ко рту черная булькающая жижа.

На лес уже пали сумерки. Лахтин вышел из воды и остановился, чтобы перевести дыхание. Его покачивало. Наверное, не так от выпитого, как от пережитого, потому что сердце все еще колотилось и земля плыла под ногами.

Чтобы не упасть, он ухватился за ветку.

— Слушай меня, — сказал черный человек. — Ты не обольщайся: писателя из тебя не получится. Хочешь жить как человек — иди к Миронову. В работу, особенно черную, не зарывайся. Поактивничай, побарахтайся на поверхности коллектива — у тебя это здорово получается. Запомни: будущий шеф твой чужого не любит, а увлечься может, и тогда будет тянуть все дело. Используй его. Голова у тебя хоть и пустая, но светлая. У тебя были стоящие идеи, но ты чувствовал, что разработка их тебе не по зубам — слишком много работы. В КБ они пригодятся. Ты получишь статус «генератора идей», а «негры» все сделают за тебя. И не тни с переходом. Твой захудалый научно-популярный журнал — пустой номер.

— Как ты со мной обращаешься? — Лахтин даже позеленел от злости. — Какой-то бред ходячий, алкогольный фантом, а туда же — жить меня учит. Да пошел ты, образина, знаешь куда...

— Иду, иду, — засмеялся Йегрес. — Но ты, родственничек, берись за ум. И почаще заглядывай в зеркало.

До скорого! — Он махнул рукой и поплыл, будто сгусток черного дыма, меж деревьев, в глубь острова.

К лагерю Лахтин шел напролом, чуть не бежал.

Первым, кого он встретил из своих, была Лена с охапкой сухих веток.

— Что с вами, Сергей Тимофеевич? — воскликнула она. — На вас лица нет.

«А у кого оно есть, девочка? — подумал с горькой иронией Лахтин. — Маски, всюду маски... Если бы ты, девочка, увидела мое настоящее лицо, ты бы закричала от страха... Однако хватит. Занавес уже подняли... Маску мне, маску».

— Послезавтра у Ольги выпускной вечер, — сказала за ужином Тамара. — Представляешь?

— С трудом, — хмыкнул Лахтин и посмотрел на дочь. — Мы слишком молоды, чтобы в ближайшие два-три года стать бабушкой и дедушкой.

— Не надо было жениться на первом курсе, — заявила Ольга. — Сами виноваты. Если ваша ветреность передалась мне с генами — пеняйте на себя.

Лахтин невольно улыбнулся.

После его возвращения из Гончаровки жизнь в их семье надолго или нет, но изменилась. Уже многие годы каждый из них жил как бы сам по себе, а тут вдруг будто проснулись, устыдились своей отчужденности и стали стараться замечать друг друга. Конечно, у Тамары с Ольгой и раньше было больше общего. А вот его, как и многих, повлекла некая центробежная сила и при внешней незыблемости семьи увела совсем на другую орбиту... Вторую неделю Лахтин не мог встретиться с Лялей и с удивлением заметил: последнее время его стали слушать и жена и дочка.

— Ты, наверное, понимаешь, что в связи со смертью бабушки мы не будем громко отмечать твой аттестат, — сказала Тамара.

— А я, получается, бессердечная дурочка и требую банкета? Так, по-твоему?

— Извини, доченька,— Тамара продолжала поражать Лахтина своей необычайной кротостью.— Ты ничего не требуешь, но мы с отцом хотим, чтобы ты не дулась и не считала себя обиженной.

— Ну что ты, мама,— Ольга, по-видимому, тоже удивилась дипломатическому демаршу матери.— Мы с ребятами договорились посидеть у Славки Яковлева...

Лахтин про себя отметил, как часто они стали опаздывать в отношениях с дочерью: попросишь, а она, оказывается, уже сделала это; посоветуешь — хмыкнет насмешливо, поздно, мол, или пожмет плечами: «Это и ежу понятно...»

— Так мне звонить Виктору Федосеевичу? — спросил Лахтин одновременно у жены и дочери, возвращаясь к первоначальному разговору. Виктором Федосеевичем звали декана физтеха, с которым Лахтин подружился, еще когда работал над кандидатской. О поступлении Ольги толковали уже не менее года, и Лахтин свыкся с мыслью, что этот вопрос придется решать ему.

— Знаешь что, отец,— сказала вдруг Тамара,— оставь ты эти мысли. У тебя и так, как я понимаю, забот хватает.

— К чему ты ведешь? — удивился Лахтин.

— Поступление Ольги я беру на себя,— заявила Тамара. И столько в ее голосе было уверенности, даже убежденности.

«Я, пожалуй, недооцениваю Тамару,— подумал он, глядя на жену, которая в это время разливала чай.— Бог мой, знал бы Гарик-идеалист, что из продавщицы, из гадкого утенка, вырос лебедь от торговли — директор крупнейшего универмага. Можно сколько угодно изгаляться по поводу вещизма, но когда моралисту понадобится «настоящая вещь», он все равно придет или к моей жене — с просьбой, записочкой, по звонку, или вынужден будет искать спекулянта...»

Лахтин в кои-то веки вспомнил, как года два назад он с женой выбрался в театр. На сцене было нечто заграничное, то ли притча, то ли сказка, кажется, «Продавец дождя». Они ожидали в фойе звонка, пили коктейль, и тут он, раскланявшись с какой-то полужнакомой парой, услышал их перешептывание за соседним столиком: «Какой еще Лахтин?» — «Да муж Тамары Михайловны! Той самой... Из универмага!» Его покорило тогда: он, ученый, чьи статьи уже были переведены на четыре иностранных языка, вдруг оказался в качестве бесплатного приложения к торговой гранд-даме.

«И все же, все же,— подумал Лахтин, допивая терпкий чай,— даже этот чай относится к пресловутому дефициту, и не мне, прирожденному потребителю, сокрушаться о падении нравов». Как бы вклиниваясь в его раздумья, Тамара сказала:

— Кажется мне, что вы пообносились, ребятушки. Я вам кое-что принесла.

Она вышла в соседнюю комнату и через минуту вернулась с двумя одинаковыми целлофановыми пакетами.

— Ой, мамочка, любимая! — завопила Ольга, бросаясь на свой пакет, будто котенок на клубок ниток или мячик. — Вельветки! Итальянские!

— Покорен... — веско сказал Лахтин, целуя жену в щеку. — Ты начинаешь нас баловать. Заметь: это приятно.

Если дома были тишь да гладь, то на заводе все обстояло гораздо сложнее. Вторую неделю Лахтина поздравляли с защитой. В руководящих кругах завода и в КБ, где он работал, на него смотрели странно. Некоторые, пожав руку, отводили глаза и говорили о его матери, о горе, которое надо пережить, вроде бы подбадривали, как водится в таких случаях. Однако были и такие, которые о смерти матери не знали, но глаза

все равно отводили. Это настораживало. Доцент Никонов уже три года работал и жил в Новосибирске, а то произошло еще раньше, так давно, что Лахтин теперь даже затруднялся определить: было ли оно в самом деле или не было? Впрочем, ничего серьезного тогда не произошло — это уж точно. Он, помнится, давал группе Никонова нагоняй. Сам Петр Петрович отсутствовал — то ли болел, то ли уехал в командировку. Сергей уже сказал все, что полагается в таких случаях, выслушал соответствующие заверения и сел на стул за стол Никонova — передохнуть. На столе валялся разрисованный чертиками обрывок кальки. Он хотел смахнуть его в корзину с мусором, но споткнулся взглядом о бессмысленную фразу, даже не фразу, а четыре слова, наспех нацарапанные Никоновым, он узнал его почерк: «Может, кристалл надо бить?» Бить? Кристалл? Что за ерунда? В их конструкциях уже лет десять кристаллы не применялись. Это анахронизм. Да и как бить? Что имел в виду Петр: механическое воздействие или магнитное поле?.. И вдруг Лахтин все понял и похолодел. Перед ним лежала готовая докторская диссертация. Да что докторская! Если идею сверхдальней связи удастся реализовать, будет все — премия, избрание в академию, международные симпозиумы, интервью... Все! Стараясь оставаться бесстрастным, он скомкал обрывок кальки и незаметно сунул его в карман.

К концу недели он едва держался на ногах от усталости, так как ночи напролет просиживал над расчетами и прикидками будущей схемы. Он бы засмеялся теперь любому в лицо и с чистой совестью отверг бы любые обвинения — идея его, и только его! Он ее выстрадал, он ее осознал, увидел в пространстве и времени. Те четыре ничего не значащих слова? Нелепая случайность. Без него, без его разума они ничего не значат. Набор слов. Их мог сказать кто угодно, даже пьяный дворник.

Короче, к приезду Никонова, который так, наверное, ничего и не понял, в КБ только и было разговоров об

открытии Лахтина. По распоряжению главного конструктора на него уже работали две лаборатории...

Так все получилось на практике. Лахтин только через полгода узнал, что Никонов переехал в Новосибирский академгородок, а узнав — не удивился и не обрадовался. Мало ли кто куда переезжает... Тревога, даже страх поселились в душе только за несколько месяцев до защиты. Как сейчас помнит: у него было какое-то большое совещание, в кабинет набилось человек пятьдесят, а когда все ушли, Лахтин вдруг обнаружил на своем столе старый, четырехгодичной давности номер «Физического журнала» со статьей... Никонова о распространении волн в разных средах. В ней был намек! Вряд ли даже специальная экспертиза обнаружила бы сходство идеи Никонова и его работы, но Лахтин испугался. Откуда этот журнал на его столе? Кто-то случайно забыл или... подложили? В таком случае кто-то знает правду. А раз так, то ее могут узнать и остальные. Пойдут слухи или, того хуже, анонимка в ВАК... Он несколько дней не находил себе места. Затем навалились дела, заняли мысли, да и Йегрес помог: появился как-то на экране осциллографа, зеленый и едкий, обругал, назвал трусом и паникером и буквально потребовал выбросить дурь из головы. И вот все повторяется. Правда, защита прошла блестяще, ни слухов, ни анонимок после того случая не последовало, но почему, почему они отводят глаза? Сочувствуют его горю... или?

Дочь включила телевизор, позвала мать. Уже сообщали спортивные новости — приближалось время приключенческого сериала, в котором играл Высоцкий и который Ольга с Тamarой смотрели уже третий раз.

Лахтин вышел на лоджию, закурил. В полутемном дворе еще играли мальчишки. После дневной жары выбрались на лавочки возле подъезда престарелые соседки, которых Лахтин полупрезрительно называл «товарищеский суд». Окна зажглись еще не все. По двору гулял голос спортивного комментатора, и Лахтин с улыб-

кой подумал, что вовсе не обязательно делать великие открытия или писать «Войну и мир», чтобы прославиться и стать кумиром — достаточно несколько вечеров побыть Жегловым с его перехлестами и экранным надрывом... Впрочем, чему завидовать — слава ученых всегда было камерной.

За деревьями, на крыше подстанции он увидел огонек сигареты. «Вон куда пацаны забрались», — подумал Лахтин, но в следующий миг то ли заметил, что мрак на крыше в этом месте гуще, то ли почувствовал присутствие двойника.

— Это ты, Злодей? — тихонько позвал он. — Лети сюда, поболтаем.

Черный человек отделился от крыши — Лахтин понял это по движению огонька сигареты — и стал наискосок подниматься вверх, к его девятому этажу.

— Привет, Чудовище, — сказал человек-призрак, зависая в пустоте возле лоджии, и Лахтину стало не по себе.

— Почему ты дал мне это прозвище? — спросил он. — В отместку?

— Ничего подобного, — возразил Йегрес и, чтобы не шокировать Лахтина, присел на перила лоджии. — Я в своем мире злодей, ты — в своем. Это если по большому счету, если обнажаться... А так мы вполне нормальные люди. Не воры и не бандиты, не дураки и не прожигатели жизни... Напротив, мы одни из движителей жизни, потому что прогресс держится на деловых людях. Мы тратим себя — свой ум, талант, время, но и требуем у судьбы вознаграждения. Мы иногда говорим ей: «Отдай то, что нам положено».

— Мне кажется, ты преувеличиваешь мою роль, — возразил Лахтин. — Я больше слушаю. Это ты постоянно меня поучаешь, советуешь, даже требуешь, чтобы я сделал так или иначе...

— Самообман, — засмеялся Йегрес. Он затянулся, и в его жутковатых, белых зрачках на миг зажегся огонь. —

Ты малость труслив, родственничек, и поэтому лицемерен. Нельзя быть одновременно сытым, то есть всем довольным, и честным. Тебе такая правда, конечно, претит, она чересчур голая, так даже говорят «голая правда»... Поэтому ты безумно рад, что у тебя есть анти-«я», двойник, которого легко объявить черным человеком, воплощением зла и всего низменного, что живет в тебе. Ладно, Чудовище, я не обижаюсь. Таковы правила игры...

«А может, это в самом деле игра? — подумал Лахтин. — Параллельный мир, Злодей, наши разговоры с ним — все игра? Суперсовременная, в которой соединились бешеный прогресс и пошленький, дряхленький мистицизм. Игра в отпущение грехов. Очень удобная для жизни, выгодная. Может, я и впрямь Чудовище и занимаюсь откровенной спихотехникой и самообманом? То есть придумал себе козла отпущения, так называемого Черного человека, который якобы живет во мне. И я избавлен от ответственности за свои решения. А может, это я *черный*? — испугался он. — Нет, нет! Я не хуже других. Никаких подлостей я сознательно никогда не совершал. А что требую от жизни свое, должное мне, то в чем же тут грех? Все чего-то хотят, добиваются, куда-то стремятся... Такова природа человека...»

— С какой стати ты меня постоянно изобличаешь? — криво улыбнулся Лахтин.

— А с какой стати ты должен лгать самому себе? — парировал Иегрес. — Не забывай: я — это ты, а ты соответственно я. Уж мы сор из избы не вынесем. Выкладывай, зачем позвал.

— Я боюсь, что люди знают о... Никонове, о том клочке бумаги...

— Чепуха. Никто ни о чем не догадывается — я проверял. Даже сам Никонов не догадывается. Считает, что опоздал со своей идеей.

— Но они все... так смотрят, — пробормотал обескураженный Лахтин.

— На удачливых люди всегда смотрят с подозрением, — сказал Йегрес. — Если ты не излечишься от страха, переходи лучше инженером в ЖЭК.

Лахтин посмотрел в колодец двора, образованный четырьмя домами. Туда уже натекло вечерней прохлады, и голоса стали глуше, умиротворенней. Сонными нахолившимися птицами стояли внизу деревья. Утром — он знал — включат полив, и весь двор наполнится шепотом живой воды и свежестью. Утром на черном вымытом асфальте будет стоять его белая «Волга», и шофер Виктор, как всегда, включит негромкую музыку... Нет, переходить в ЖЭК определенно не хотелось.

— В селе ты советовал заняться делом, — напомнил Лахтин. — То есть развивать наступление, не успокаиваться... Дома я перетряхнул все блокноты, записи. Все, что было, ушло в диссертацию. Я пустой, Злодей. У меня нет никаких идей. Никаких! Даже завалящих...

Йегрес пожал плечами.

— Опять ты хочешь, чтобы я сказал то, о чем ты сам прекрасно знаешь. Наука — дело коллективное. У тебя нет идей, но есть возможность их реализовать. А у других идей больше, чем долгов перед получкой... Тебе пора забыть о славе Эдисона и заняться административной работой, а также сбором дивидендов. Идеи... Они растут у тебя под ногами, будто трава, падо только наклониться. Для начала помощи Вишневному.

— Этому хмырю?! — удивился Лахтин. — Ни за что! Какая с него польза? Только и умеет, что ворчать и говорить людям гадости. Я вообще подумывал, как от него избавиться.

— Ты еще не таким хмырем был бы на его месте, — заявил двойник. — Парень талантлив, а защититься не может. Сам знаешь. Девять лет мурыжится с кандидатской. Впрочем, какой там парень! Он на два года моложе тебя и до сих пор на побегушках. А ведь у Вишневого есть интересные работы. Ты знаешь это и бо-

ишься его: из него вырастет достойный соперник. И не только тебе или Фельдману, но и Главному.

— Значит, ты советуешь самому подставить шею? Пусть садится?

Йегрес презрительно фыркнул, пустил через ноздри фиолетово-сизый дым, почти невидимый в темноте.

— Опять ты боишься. Учти: люди это замечают. Они пока молчат, но вскоре пойдут упорные слухи, что Лахтин затирает молодых. Кто-то обязательно скажет: «Он боится», — а там уж настанет черед смельчака, который рискнет заявить, что король-то голый.

— Странные у тебя методы, Злодей. Ты лечишь меня от страха страхом — сам постоянно пугаешь.

— Клин клином вышибают, — Йегрес улыбнулся, обнажив крепкие черные зубы. — А Вишневого ты приглубь. Причем поскорее. Его осчастливишь и сам внакладе не останешься: у парня светлая голова.

Сумерки сгустились, и двойник Лахтина заторопился. Он вскочил с перил и вновь повис в пугающей пустоте.

— Ты обмозгуй мое предложение, — сказал он, — а я полетаю возле окон, посмотрю, как другие живут. Любопытные иногда картины можно увидеть... — Черный человек хихикнул и уплыл в сторону высотных зданий нового микрорайона.

Утром, приехав в КБ, Лахтин вспомнил: вот уже месяца полтора он не делал «обхода пациентов». Это выражение он взял у Исаея, который не реже чем раз в месяц наносил визиты нужным людям — «чтоб нас не забывали», — смеялся Исай, отмечая в блокноте, с кем надо встретиться лично, а кому достаточно позвонить по телефону.

Лахтин, взяв его систему, несколько усовершенствовал ее. Кроме «нужных и влиятельных», он ввел в число «пациентов» тех, кто мог впоследствии стать нужным

или влиятельным. Он постарался изучить интересы и пристрастия этих людей, не говоря уже о слабостях. Жизнь есть жизнь. Один запомнит дружескую рюмку коньяка, другому приятно побыть с начальством на короткой ноге — и тут уж хочешь не хочешь, а играй демократа, третий помешан, скажем, на лошадях или автомобилях. И так без конца. В особых случаях Лахтин оказывал «знаки внимания». Тому «выбьет» путевку через завком, тому подарит блок «Винетона» или японскую шариковую ручку... Кажется, мелочь, а человеку приятно...

Светлана, его двадцатидвухлетняя незамужняя секретарша, завидев Лахтина, поспешно закрыла ящик стола, в котором держала разные зеркальца, помады, пудры, и вскочила будто школьница при виде директора. На ее красивом, но уже немного испорченном косметикой личике появилась улыбка, в которой угадывалась тайная влюбленность в шефа и стремление выглядеть независимой и взрослой.

«Какая прелесть,— подумал Лахтин, оглядывая девушку.— Только позови, только разреши себя любить... Но нет! Сначала ей надо подыскать хорошую работу. В КБ или даже лучше — на производстве. Главное, чтобы подальше от меня. Затем выдать замуж... Впрочем, если она не глупа, это не обязательно... А уж затем...»

Он взял руку Светланы, как бы здороваясь, задержал в своей.

— Чего у тебя руки холодные? — спросил Лахтин и улыбнулся.

— Не знаю,— прошептала девушка.

— А почему у меня горячие — знаешь?

Светлана зарделась, потупила глаза.

— Догадываюсь,— еще тише сказала она.

Лахтин засмеялся и прошел к себе в кабинет. Впервые после смерти матери чувство вины не давило на душу, да и вчерашние страхи растаяли при свете дня:

никто и ни в чем его не уличит, нет на нем настоящей вины, а мелкие грехи — у кого их нет?

«Обход пациентов» Лахтин начал со своих двух коллег, таких же, как и он, заместителей главного конструктора, затем обошел всех главных специалистов, поздоровался с начальниками лабораторий, а трем руководителям групп, которые пользовались особым его доверием, рассказал по свежему анекдоту. Без четверти двенадцать он вышел к финишу — приемной самого Миронова, был обласкан секретаршей и через минуту-другую уже сидел в кабинете перед столом Главного.

— Вы знаете, Георгий Викторович, — не без грусти заявил Лахтин. — Я — преступник. Да, именно я, это моя вина. — И тут же, чтобы его раскаяние не превратилось в фарс, перешел от «я» к «мы» и уже серьезно и обстоятельно доложил: — Мы проглядели Вишневского. Он давно перерос свою должность и уж, конечно, мог бы защититься лет пять назад...

— Вы не преувеличиваете? — поинтересовался Главный. — Что-то я не припомню за ним особых талантов.

— Поэтому и проглядели, — сказал Лахтин. — Я просмотрел его работы за последние три года и убедился, что это талант. Конечно, хаотичный, не всегда требовательный к себе, но талант. С ним надо работать, Георгий Викторович. Для начала, если вы не возражаете, я возьму его в свою лабораторию. Вот увидите: через три-четыре года из Вишневского получится как минимум отличный завлаб. Как минимум!

— Вы оптимист, Сергей Тимофеевич. — Главный пожал плечами. — Не возражаю. Тем более, что вам пора обзаводиться учениками.

Миронов помолчал, подвинул к себе красную папку, в которой — Лахтин это знал точно — подавались на подпись наиболее важные «исходящие».

— Не хочу вас обнадеживать, — сказал Главный. — Конкурентов много, и работы их очень серьезные, но сам факт выдвижения...

Сердце Лахтина замерло. «Вот оно! Сбылось! — обожгла его радостная догадка. — Премия! Нет сомнений — речь идет о большой премии».

— Лично я верю в ваш генератор. В наш генератор, — поправил себя Миронов. — Он заслуживает самой высокой оценки. Однако давайте не будем загадывать... Кстати, по поводу монтажа антенны я консультировался с вертолетчиками...

Дальше пошел обычный разговор, который Лахтин вел почти машинально. В сознании одно за другим вспыхивали не очень связные, но такие соблазнительные видения: текст постановления на газетной полосе, салон самолета, какие-то витрины, знакомый берег Пицунды, горка икры в хрустальной вазочке, значок телевизионной камеры... Отвлекаясь мысленно, Лахтин все-таки обсудил с главным конструктором все детали предстоящего эксперимента и даже подбросил идею, как ускорить монтаж антенны.

Выйдя от Миронова, он позвонил Ляле.

— Я дома, — сказала она. — Нет, не уйду. Я в отпуске. Завтра еду в Мацесту... Хорошо, приезжай.

Лахтин попросил Светлану позвонить попозже его жене и передать, что он срочно выехал на три дня на испытания, и снова зашел в приемную Главного.

— Если меня будет спрашивать Георгий Викторович, — сказал он секретарше Миронова, — передайте, пожалуйста: я в Москве, у академика Троицкого. У старика появились соображения по поводу моего генератора, — конфиденциально добавил он, поцеловал Людмиле Павловне ручку и через несколько минут уже ехал в такси на Русановку.

В лифте, припоминая слова арии из «Пиковой дамы», Лахтин вполголоса затянул:

Так бросьте же борьбу!
Ловите миг удачи.
Пусть неудачник плачет,
Кляня свою судьбу...

Он напевал прицепившийся мотив и в доме. Ляля улыбалась одними глазами, хотя терпеть не могла фальши, а Лахтин перебирал все подряд: слова, мелодию, даже интонацию, напирая всей мощью голоса на бедного «неудачника»...

— Посмотри пока перевод, — сказала она. — Я тем временем накрою стол.

Ляля ушла на кухню. Еще с детдома, с тех давних пор дежурств по пищеблоку, осталась у нее неистребимая привычка кормить всех подряд — его, друзей и гостей, своих учеников, полусонную девицу, которую третий год безуспешно натаскивала по английскому языку для поступления в вуз. Лахтин знал: пока он не поест, не будет ни разговора, ни тем более нежностей. Это было нечто вроде обязательного ритуала, причем приятного, потому что Ляля всегда старалась угодить ему, — вот и сейчас из кухни плыли дразнящие ароматы, и Лахтин их с удовольствием угадывал: картошка, для которой на сковородке поспевают хрустящие шкварки, свинина в кляре, свежий дух молодой редиски, душистый кофе, а ко всему этому его любимый коньяк «Коктебель» — золотистый, мягкий на вкус, разгоняющий в жилах кровь.

Он посмотрел перевод статьи из американского специального журнала, который сделала ему Ляля, и в который раз подивился ее аккуратности и добросовестности: семнадцать страниц машинописи, четыре экземпляра — вдруг еще кому понадобится...

— Спасибо, Мышка! — крикнул Лахтин. — Ты у меня все-таки разбогатеешь. Завтра же соберу все твои переводы, оформлю договор...

Он осекся. Ляля стояла в двери и улыбалась.

— Я слышу это третий год, — сказала она и вздохнула так, будто привыкла уже, что ее обманывают все, кому не лень. — Не забывай также, что завтра ты еще в ...Москве. В лучшем случае ты оттуда можешь вернуться вечером. Проводишь меня на вокзал — и... вернешься из Москвы.

— Нет! Нет и нет! — Лахтин закрыл ее губы поцелуем, затем заговорил с упреком: — Все, что угодно, только не уезжай. Зачем тебе эта Мацеста? Я специально придумал поездку, чтобы побыть с тобой, а ты... Ты эгоистка, Мышка.

— Но я третий год не отдыхаю — как ты этого не поймешь? — удивилась Ляля. — Да и подлечиться надо.

— А село? — капризно заявил Лахтин. — Ты по полтора месяца торчишь каждое лето в селе, а мне здесь хоть стреляйся от скуки.

— Там моя жизнь, — тихо сказала Ляля. — Там мама и Димка... Мальчик и так растет без матери. Кстати, я решила в этом году забрать Димку. Он уже в четвертый перешел — парень самостоятельный, проживет как-нибудь...

— Да, да, конечно, — неизвестно с чем согласился Лахтин. — Тебе виднее, как поступить. Просто мне тяжело сейчас: смерть матери, эта проклятая защита, Ольгины экзамены... А к тебе вошел — и будто все хлопоты за порогом остались.

— Пошли к столу, — вздохнула Ляля.

Он угадал все, точнее, почти все. На столе не было только коньяка. — вместо него стояли две бутылки «Монастырской избы».

«Это даже лучше, — подумал Лахтин. — По такой жаре боржоми надо пить». Он с удовлетворением отметил: вода холодная, из морозилки. Но все равно заведенный ранее порядок был нарушен, а тут еще разговоры Ляли о сыне, о ее завтрашнем отъезде — все это вызывало легкую досаду и недоумение: ну почему в мире нет ничего постоянного, неизменного, почему и здесь от него чего-то хотят, тревожат душу, которая в данный момент просит и требует одного — покоя?

Поздно ночью, устав сам и утомив Лялю ласками, Лахтин подарил ей дежурный поцелуй и вышел на лоджию перекурить. За Днепром — темным и почти невидимым — светились огни центра. Все сегодня было почти

как всегда. И все же он чувствовал: что-то не так. То ли Мышка стала другой, более отчужденной, то ли ему самому начала надоедать эта многолетняя связь.

«А чего, это тоже не исключено,— беспечно подумал Лахтин.— Ничто не вечно под луной... Может, в самом деле Ляльке пора заняться воспитанием сына, а мне, скажем, немного согреть своим вниманием девочку с холодными руками?..» Он вспомнил, как они познакомились.

Утром того дня ему позвонил Исай.

— Привет, старик,— сказал он.— Ты не забыл, чем славен этот день?

Сергей машинально глянул на календарь.

«У Исаея день рождения,— вспомнил он,— совершенно вылетело из головы».

— Будь моя воля,— засмеялся он,— я бы этот день сделал общесоюзным выходным. Короче, я уступаю тебе Ее! Вчера весь вечер прощался,— вдохновенно солгал Лахтин, тотчас придумав, что он подарит приятелю.

— Ты что — Тамару решил мне подарить?! — загоготал Исай.— А я возьму. Я такой!.. Кстати, не забудь — я вас жду вдвоем. В семь вечера. Или сразу после работы подъезжайте — посмотришь кое-какие диковинки.

— Тамара на сессии,— не без удовольствия сообщил Лахтин.— Так что я сегодня холостякую. Берегись, Исай, я переполовиню твой гарем.

— Так с чем же ты прощался?

— Это называется — от сердца оторвал. Она черненькая и необычайно соблазнительная. Ты как-то даже обещался украсть ее у меня.

Исай застонал:

— Замолчи, убийца. Я, кажется, начинаю догадываться, кто она. Но если ты обманешь...

Сергей не обманул.

Он пришел чуть позже, расцеловал именинника и вручил Исаю черный томик Томаса Вулфа. Просвещенная часть гостей застонала — кто от зависти, кто от вос-

хищения. У Исая, как всегда, собралась куча народу. Многих Лахтин знал, но были и новые люди. Он пере-знакомился со всеми и тут же забыл их имена, выделив из «толпы» двух женщин, которые были как будто сами по себе. Одну — расплывшуюся и томную — он встречал у Исая не раз. Особа эта работала по соседству, в книжном магазине. Лахтину она с самого начала показалась исключительно глупой. Таких женщин он избегал, как бы сильно его ни тянуло к ним. Сегодня «тянуло» как никогда, но Лахтин решительно поставил в уме крест на хозяйке книжной подсобки. Другую, маленькую женщину он тоже видел у Исая на прошлогоднем дне рождения. Но тогда он был с женой, а значит, был совсем другим человеком, и — о господи! — не увидел ни ее милой сдержанности, ни чистых, не знающих помады губ, ни высокой груди, которая порядком захмелевшего Лахтина воодушевила.

Теперь у Лахтина появилась цель.

Исай понял приятеля, улыбнулся ему.

«Токуешь? — спросил он взглядом и так же безмолвно одобрил: — Давай, старик, у тебя получается».

Лахтину понравился этот способ общения. «Изреченное слово есть ложь», — вспомнил он чью-то мысль и тут же решил, что попробует объясниться с маленькой женщиной без слов. К чему, в самом деле, слова? Ведь сго сейчас не интересуется ни родство душ, ни ее духовный мир... Пусть моралисты как угодно бранятся, но в нем вспыхнуло что-то плотское... Животный инстинкт... Пока жив человек, он будет иногда ощущать слепой и властный зов, заставляющий, например, сохатого идти напролом сквозь чашу, не замечая нацеленных в него винтовок...

Начались танцы.

Лахтин молча пригласил свою Цель. Ему повезло — музыка шла медленно, кто-то из гостей выключил верхний свет и зажег бра.

Цель была в руках. Ее волосы пахли то ли сеном,

то ли ромашкой, и Лахтин удивился этому не городскому запаху. Он сразу же объявил свое отношение к маленькой женщине. Кроме того, он намеренно чуть сильнее, чем принято, привлек ее к себе. И никаких слов! Не надо лгать! Сегодня он принципиально не хочет никому лгать. Тем более своей маленькой партнерше.

Она почувствовала его необычайную настойчивость, подняла взгляд. Лахтин этого только и ждал.

«Здравствуй, радость моя! — сказал он ей глазами. — Здравствуй, милое создание. Ты знаешь, древние боги специально придумали танцы, чтобы посылать любящих в объятия друг другу. Смотри, смотри неотрывно! Ты видишь, сколько в моих глазах обожания? Они уже устали ласкать тебя, мой зверек с шелковистой кожей».

«Чего ты хочешь?» — спросили ее карие глаза, а губы чуть дрогнули в улыбке.

«Тебя! — воскликнул Лахтин без слов. — Сейчас! Моя душа рядом с тобой еще с начала вечеринки. Не прогоняй ее, пожалуйста... Ты слышишь ее прикосновения? Они смущают тебя? О, я уже не властен над своим посланником...»

— Ты чего Лялю гипнотизируешь? — толкнул его Гордеев и засмеялся. — Смотри, Удав! Не обижай нашего Кролика!

Маленькая женщина тоже засмеялась, покачала головой. Было непонятно, что она отрицает: шуточные опасения Володи Гордеева или страстные призывы Лахтина, которые он, увлекшись игрой, пытался выразить без слов.

И все же какая-то искра проскочила между ними. Неимоверно долгий, будто затяжной прыжок с парашютом, танец кончился. Сергей на минуту оторвался от Ляли, залпом выпил два бокала вина и вновь вернулся к ней. Они начали танцевать, даже не заметив, что музыки толком еще нет — магнитофон включали, переключали, меняли кассеты. Ляля тоже теперь неотрывно смотрела на Лахтина. Они топтались, едва передвигая

ноги, возле открытого балкона, откуда в комнату заглядывала майская ночь и пахло цветущей вишней.

«Какая ты красивая,— безмолвно рассказывал Ляле Лахтин.— Ты молчишь и становишься поэтому еще красивее. Я устал от слов. Губы, глаза, руки... Они надежней и искренней, что бы там ни лепетали ханжи. Уведи меня отсюда, милая. Но только не нарушай правил нашей игры. Не разрушай молчания. Ведь может случиться, что слова твои окажутся самыми обыкновенными, и тогда померкнет это сияние, любимая, которое исходит от тебя. Все померкнет. Ты станешь такой же занудной бабой, как моя Тамара... Понимаешь?»

Маленькая женщина кивнула: «Понимаю». Затем она куда-то ушла. Лахтин обеспокоенно бросился в спальню, где Исай показывал слайды зимнего восхождения на Казбек, заглянул на кухню. И вдруг увидел Лялю рядом с собой — в коридоре, возле вешалки, уже с сумочкой в руках.

«Она уходит,— ужаснулся Лахтин.— Что делать?»

Пока он искал в прихожей свой кейс, Ляля вышла. Он выскочил на площадку и увидел закрывающуюся дверь лифта. Не раздумывая и секунды, он ринулся вниз, перепрыгивая через три, а то и через четыре ступеньки. Лахтин чувствовал, что успеет, и успел. Маленькая женщина садилась у подъезда в невесть откуда взявшееся здесь в это позднее время такси. Он толкнул ее плечом и буквально упал рядом на сиденье. Сердце бешено стучало, и Лахтин с беспечной улыбкой подумал: хорош же будет он как соблазнитель, если сейчас его прихватит приступ тахикардии. Он даже глаза прикрыл, чтобы совладать с собой и погасить возбуждение, вызванное обильной выпивкой. Ляля что-то сказала водителю — по видимому, адрес. Он на ощупь нашел ее маленькую руку, накрыл своей, стал благодарно и нежно прикасаться к ее детским мягким пальчикам, гладить их.

Ехали минут десять. Затем машина остановилась. Лахтин механически открыл дверцу и вышел на улицу,

не выпуская руки маленькой женщины. Его не интересовало, где они находятся, куда идут, зачем. Пока нет слов — все правда, все легко и осуществимо.

Заурчал лифт, вознося их на какой-то этаж.

«Вот видишь,— говорил он Ляле глазами, пока они ехали.— Так просто и славно. Ты научилась моему языку, правда? Ты почувствовала себя маленьким зверьком с шелковистой кожей? Свободным и потому счастливым. Иди же ко мне, кареглазый зверек! И будь, пожалуйста, смелым. Свободные — это и есть смелые...»

По тому, как маленькая женщина открывала дверь, Лахтин понял: в квартире никого нет. Там мрак и доверчивость. Да, да, доверчивость — ночное существо...

Они поспешно вошли в квартиру. Дверь хлопнула, защелкнувшись сама собой. Лахтин тут же привлек к себе Лялю, боясь, что она зажжет свет и все, все испортит. Он нашел ее губы — податливые, чуть сонные. Кейс выпал из рук. Сергея качнуло. Он потянул «молнию» ее платья. Ляля как-то странно шевельнула телом, и одежда ее, будто кожа лияной змеи, с тихим шорохом упала на пол...

Несколько месяцев спустя Лахтин как-то заехал в «Букинист» и встретил там Исая. Поговорили о книгах — кто что достал. Затем Исай сказал с улыбкой:

— Мало того что приходишь в мой дом, ешь, пьешь, так еще и воруешь женщин из моего гарема?

— Она была твоей? — вздрогнул Лахтин.

— Да нет, старик, не пугайся,— засмеялся Исай.— Вижу, у вас что-то клеится?

— Ты же знаешь,— отшутился он.— Не я придумал: большие женщины для работы, маленькие — для любви.

Исай работал хирургом на «Скорой помощи» и идеально вписывался в лахтинскую модель межличностных отношений.

Правило «чем меньше общего, тем лучше дышится» Лахтин выработал еще на первом курсе, сразу же после свадьбы. С одной стороны, чтобы рассеять собственные

опасения (а они хоть и смутные, но были), с другой, чтобы ответить на снабженный добрым десятком извинений, но все-таки бесцеремонный вопрос Гарика-идеалиста: «Старик, а это ничего, что вы такие... разные? Ты — физик, Тома — продавщица...» Он объяснил тогда Гарику, что и жена и друзья должны заниматься на работе чем угодно, но только не тем, чем ты. Только тогда это будут в самом деле личные отношения. Из них в этом случае исключается возможность расчета и мелкой зависти, соперничества и подсиживания, осознанного и неосознанного воровства идей. «Итак,— заключил Лахтин,— давайте не будем смешивать. Друзья — для дома и для души, товарищи — для ума и работы». — «А кто же, например, я для тебя?» — растерялся Гарик-идеалист. «Лишний человек,— засмеялся Лахтин.— Классическое определение». Шутка оказалась пророческой. Их дружба вскоре приказала долго жить, причем так тихо и естественно, что Лахтин даже не заметил, когда это произошло.

С Исаем его свели приступ тахикардии и любовь к книгам. Приступ был нелепый, как-то вечером он засмеялся, и сердце вдруг задергалось, задрожало, будто заячий хвост, стало трудно дышать. Тамара, недолго думая, вызвала «неотложку». Приехал сравнительно молодой врач, сделал укол, посоветовал, как можно сбить учащенный ритм без помощи лекарств. Пока говорил, откровенно жадным взором шарил по стеллажам в кабинете Лахтина: выделил сразу «Дневник» Жюлья Ренара и двухтомник Джерома, поинтересовался, где и почему он брал Булгакова. Лахтин почувствовал родственную душу. «На черный рынок в воскресенье сходишь, цены услышишь, вот тебе и приступ», — пошутил он. Исай оказался знатоком в этом вопросе. Он тут же сказал, что это пока цветочки: книжный бум, мол, впереди, — и будто в воду смотрел. Сошлись они и на фантастике. Лахтин показал библиотечку отечественной и зарубежной фантастики, которая насчитывала около

пятисот томов, похвастался тремя своими рассказами, опубликованными в журнале. Исай согласился: труд писателя заманчив, но уж очень зыбкий, даже настоящий большой талант не гарантирует ни денег, ни тем более признания. «Как хобби это прекрасно,— засмеялся он, выслушав признание Лахтина о его публикациях в журнале.— Но для профессии — жидковато».

Ему и только ему сказал Лахтин на какой-то гулянке об Йегресе.

— По-видимому, это результат моего увлечения фантастикой,— предположил он, заканчивая свой рассказ о приключениях на острове.— Я пару лет назад даже повестушку хотел написать о «черном человеке». Но потом раздумал. Скажут еще, что у Есенина содрал. Это первое объяснение.

— А второе? — спросил, улыбаясь, Исай.

— Ты знаешь, существует гипотеза, что параллельные миры в самом деле возможны. Я как физик...

— Старик,— перебил его Исай,— гипотез тьма, а истина всегда конкретна. Есть еще одно объяснение: элементарный схизис, то есть шизис. Раздвоение личности.

— Ты что?! — возмутился Лахтин.— Я вполне нормальный. Да и откуда, почему?

— Вот уж этого не знаю. Может, и фантастика повлияла... Плюс большая доза алкоголя... Да ты не переживай, старик.— Исай обнял Лахтина.— Мы все немного чокнутые. Абсолютно нормальных людей сейчас нет — наукой доказано.

— Это опасно? — Лахтин уже успел испугаться.

— Не думаю.— Исай пожалел, что напугал приятеля.— Если хочешь, устрою тебе консультацию. У меня в шестнадцатой знакомый психиатр работает. Во-о-от такой мужик! Правда, тоже чокнутый — фразы сочиняет. Те, что «Литературка» печатает. То есть его не печатает, я вообще...— Исай запутался в словах, махнул рукой и

предложил: — Пойдем лучше выпьем за твоего двойника.

— Это идея! — обрадовался Лахтин. — Подумать только! — захохотал он. — Чокнутый психиатр. За это, право, стоит выпить.

Финал разговора, как ни странно, успокоил Лахтина. Так уж вышло, заключил он, что переход из журнала в заводское КБ совпал с появлением в его жизни двух новых и очень важных для него лиц — эфемерного наставника и маленькой женщины.

Как-то Лахтин записал в блокноте: «Почти одновременно жизнь подарила мне свой Дух и свою Плоть. Это ли не счастье?!»

И вот сейчас, по прошествии лет, потягивая на чужой лоджии сигарету и глядя на ночной город, Лахтин вдруг с грустью понял, что он не напрасно тогда поставил в конце, может быть, чересчур пышной, но в общем искренней фразы знак вопроса. Это не есть счастье. Плоть наскучила, а Дух в образе Злодея удручает.

«Все-таки жизнь — это бег. Даже когда не хочется бежать, — подумал он, нервно закуривая новую сигарету. — Вопрос только в том, куда и зачем бежать. Тысячелетний вопрос... Если моя борьба с Йегресом (или его со мной) — болезнь, то все не так уж безнадежно. Ведь я, получается, сознаю свою порчу. Но если это игра... — Лахтин мысленно споткнулся. Он на миг испугался такого предположения, но тут же высмеял себя. — Ну и что, если игра?! В любом случае это попытка разобраться в жизни, в своей душе и судьбе. И не только в своей. Таких, как я, рефлексирующих, сейчас полмира. И что плохого в том, черт побери, что мы пытаемся понять себя и мир, что мы мучаемся своими сомнениями и противоречиями? Гораздо страшнее те, кто не прав, но уверен в своей правоте. Вот уж кто есть самые настоящие «чудовища».

Однажды Лахтин ездил в Болгарию, где видел хождение по огню. Водил на зрелище его знакомый журналист и писатель Святослав. Он же познакомил со знаменитой нестинаркой Невеной, которая во время их необязательного разговора вдруг куда-то исчезла и вернулась, лишь когда заиграли волюнки. Это уже была другая Невена. Где-то остались ее европейская одежда, обыденность манер. Полузакрыв глаза и раскинув руки, в расшитой рубахе до колен, она стремительно прошла через живой коридор и так же легко и естественно, как шла, ступила в огненный круг.

О как кроваво и грозно пылали угли громадного кострища. Как неистовствовала музыка. Как летела Невена — все по кругу, по кругу, быстро-быстро и... безмятежно. Казалось, сейчас вспыхнет ее белая рубаха, вспыхнут волосы... У него сжалось сердце. То ли от мистического ужаса, лохматого и первобытного, обитающего на задворках души, то ли от восхищения и желания самому ворваться в огненный круг. Да, да, какой-то голос нашептывал тогда: иди, взлети над пламенем, это возможно, не трусь! Эх, Невена, Невена!

Лахтин судорожно вздохнул.

«Вся жизнь — это танец по-нестинарски, — подумал он. — Бег по огню. Чем не образ современной жизни — ее насыщенности и темпа? Когда не то что остановиться — с круга сойти нельзя. И опять тысячелетний вопрос: зачем, во имя чего? Каждый в эту пляску вкладывает свой смысл. Один сгорает, создав космический корабль, другой — рухнув на угли. С кем же я — Сергей Лахтин? С кем веду свой единственный танец? И во имя чего?»

Он закурил третью сигарету.

На душе было до того скверно, что дай Лахтину пистолет — и он бы застрелился. Прямо тут, на лоджии у Ляльки. Так ему казалось по крайней мере до тех пор, пока сырой ветер с Днепра не загнал его в комнату,

Захар выпустил корову, и она ушла, подымая красную пыль, к выгону. Когда-то, еще до войны, он тоже пас Череду, и Настя гоняла, и Женька, и так же немилосердно к середине лета сохла трава — коровы поэтому держались поближе к старым вербам.

«Странно все-таки мир устроен,— подумал Захар.— Выгон на месте, и вербы там торчат, и трава растет. Ставки тоже не изменились — может, только больше берега заросли. А вот Насти моей давно уже нет. И Женя ушла. Да и мои следы теперь сразу стыннут... Говорят: человек — хозяин природы. То есть всего мира.— Захар даже головой покачал.— Сильно оно сомнительно... Все остается, все живет, а человек уходит, не успев даже понять, для чего жил. Какой же он хозяин?.. У других, правда, дети, внуки, род получается, смысл. Не получилось у нас с Настей ребенка. Теперь уже не поправишь...»

Мимо хаты, ковыляя по колдобинам, проехал автобус.

«Пора, однако, за работу браться». Захар вздохнул и понес под навес реечки, отшлифованные с вечера наждачной бумагой. Он и раньше делал ульи, но один или два, не больше, так как считал работу эту деликатной и тонкой. Пчела хоть и не умеет говорить, но существо, вне всяких сомнений, разумное. Этот заказ был особым. Правление колхоза решило расширить пасеку и заказало Захару шестнадцать двухкорпусных ульев. Про сроки не договаривались. Однако председатель повернул дело так, что теперь Захар сам себя подгонял. И хитрости вроде молодой председатель не применил. Просто уважение высказал и свою начальственную гордость как бы чуть принизил. «Про то, сколько времени вам на работу понадобится,— сказал при всех членах правления,— мы с вами, Захар Степанович, договариваться не станем. Вы в селе первейший хозяин. Поэтому сами понимаете: чем раньше мы нашу пасеку на ноги поставим, тем раньше и мед гончаровский потечет...» Вот так

повернул дело председатель. Хошь не хошь, а должен теперь Захар стараться и поспешать.

— Стараешься?!

Хитрый Мыкола будто из-под земли объявился. Захар кивнул, здороваясь, потому что помнил добро. Всякое. И платное и бесплатное. Червонец — не деньги, а в день похорон Жени здорово ему Мыкола прислужился.

Захар сгреб с верстака пахучие стружки, кивнул гостю: присаживайся, мол, больше негде.

Мыкола садиться не стал. Он достал из кармана грязно-серых штанов бутылку «Яблочного» и поставил ее на верстак. Захар улыбнулся, покачал головой. Недаром все-таки Мыколе прозвище дали: мудрует что-то, а зачем? Ведь все село знает, что он, Захар, среди бела дня без повода пить не станет. Тем более эти поганые «чернила».

— Ты, Захар, натуральный человек, но, я вижу, без понятия,— обиделся Хитрый Мыкола. С одной стороны, он как бы делал Захару комплимент, потому что слово «натуральный» у него было выше всех похвал, с другой, заявляя о «понятии», рисковал. Захар был такой простой, что мог и со двора погнать.

— Ты меня должен в хату позвать, закусь какую-нибудь натуральную предложить,— гнул свое Мыкола.— Я ж к тебе не просто так, за здорово живешь... А бутылку прихватил, чтоб конфуза не получилось. Вдруг, думаю, у тебя ничего согревающего нет.

Захар, не понимая, к чему гнет Хитрый Мыкола, отложил рубанок.

— Помянуть надо душу,— бесхитростно сказал тот.— Душа светлая была. Да и вроде не чужая тебе.

«Сегодня же сорок дней,— вспомнил Захар, и взгляд его обратился к околице, где за редкими деревьями и хатами на взгорке было видно кладбище.— Обычай, может, и пустой, но не мне его отменять. А Женю я каждый день поминаю. Не горькой водкой, а горькой думкой...»

Он кивнул, показывая, что все понял и согласен с Мыколой:

— Пойдем в хату, сосед.

Хитрый Мыкола жил аж возле первой бригады, рядом с кирпичным заводом, но Захар почти всех в селе называл соседями, а кого не называл, значит, не уважал или недолюбливал.

Захар поставил на стол еще теплую картошку, которую варил утром, помыл редиску и зеленый лук, затем большими кусками нарезал сало. Хотел еще открыть рыбные консервы, но Мыкола сказал, что в поминальном деле еда не главное, и он отложил банку в сторону. Достал из шкафчика бутылку, разлил в стаканы. Молча выпили. Захар захрустел пучком лука, аж тот слезу у него вышиб, хотя Мыколе показалось, что лук тут вовсе ни при чем. Покурили.

— Сережка небось переживал, что не успел с матерью попрощаться? — начал было Хитрый Мыкола, но Захар вместо длинного разговора обронил только: «Не его вина» — и налил по новой.

Теперь закусывали обстоятельно. Мыкола, позавидовав вслух столярному умению хозяина, выразил потом сомнение:

— Улы ты, конечно, сделаешь натуральные. Но вот где пчеле кормиться — ума не приложу.

— Это председателя забота, — ответил Захар. — Он у нас на агронома учился, пусть теперь сеет медоносы... Сад вон еще колхозный подрастает.

— И то так, — сказал Мыкола. — А помнишь, после войны ни одного тебе деревца в Гончаровке не осталось. Все на топливо пошло. Зимы лютые, а на глине сама по себе и акация не вырастет.

— Скудные у нас места, — согласился Захар. Разговор мало-помалу наладился — неспешный, обо всем, кроме той, кого поминали: Мыкола сообразил, что не понравятся хозяину хаты слова про Евгению — какие бы они ни были.

Когда ближе к вечеру показалось дно второй бутылки, Хитрый Мыкола вспомнил о своем «Яблочном» и предложил его открыть. Захар отказался. Он как будто и не пил вовсе — только еще задумчивее стал да курил теперь чаще.

— Так я дома употреблю. За твоё здоровьице.

Мыкола спрятал вино в карман и, чтоб Захар не передумал, стал прощаться. Его малость развезло. У калитки, которую Захар открыл, Мыкола долго соображал, чем бы отблагодарить хозяина за угощение. Затем приобнял Захара, сказал:

— Люди, может, и смеются, но я, пока глина сухая, опять себе место заготовил. Как-никак, Захар, мне пятьдесят восемь, всякое может случиться... Тебе тоже порядком годков настучало. А смерть — она, дура, слепая. Поэтому нам друг за дружку надо держаться... Я беду, конечно, не кличу, но случиться может всякое.

— Ты ясней, Мыкола,— попросил Захар.— Я не дипломат. И ты тоже. Говори, что думаешь.

— Я к тому разговор веду, что ты натуральнейший человек.— Мыколу качнуло, и он придержался за калитку.— Уважаю я тебя, Захар. А потому говорю: ежели вдруг тебя бог раньше призовет, то я тебе яму свою уступлю — обещаю! И без всяких там денег. Понял?!

— Понял, сосед, понял,— улыбнулся Захар и легонько подтолкнул гостя.— Только я помирать пока не собираюсь и тебе не советую. Иди домой, Мыкола, а то твоя Катря заругается — на целый день, скажет, пропал.

— Я т-тоже не собираюсь!

Хитрый Мыкола решительно отпустил калитку, махнул рукой, то ли прощаясь, то ли удерживая равновесие, и пошел-поплыл по вечерней улице немного зигзагами, но не очень, будто обронил что-то и теперь искал в дорожной пыли.

Захар вернулся в хату, включил свет, а чтоб не

заскучать после живого человека, включил еще и радио. На душе было мутно. По-глупому он утром горевал. Все уходит — таков закон. Выгон, например, только кажется прежним. Все в нем поменялось: и трава, и вода в ставках, и вербы — одни усохли, другие выросли. Уходит — и должно уходить. Иначе новому места не будет. Плохо другое. Плохо, что человек в других людей прорастает, в их жизнь и память, срастается с ними корнями. Выдернет его злой случай или болезнь из жизни, выкорчует — десяткам людей больно. Изменить бы все это, переделать. Но как? Вдруг по-другому еще хуже будет?..

Он достал из шифоньера бумаги Лахтиных, которые предлагал Сергею и которые тот непонятно почему не взял: какая ни есть, а все-таки память о матери. Среди бумаг он видел фото Жени — единственное, где она такая, какой была в молодости — худенькая, голова чуть запрокинута, будто ее косы, уложенные венком, перевешивают, улыбка робкая, а глаза ясные, смелые... Захар перекладывал пожелтевшие страховые полисы, старые квитанции об уплате налогов, облигации, открытки и письма Сергея — он узнал их по почерку...

«Как им Женя гордилась. Всякий раз заговорит — и все о нем. Об успехах его рассказывала, письмами хвалилась... — Захар стал вспоминать то небольшое, о чем успел перемолвиться с Сергеем в ночь после похорон да наутро, когда подошла машина, и молодой Лахтин, бросив завтрак, стал неловко прощаться. Прощался и отводил глаза, будто украл что-нибудь или собрался украсть. Да... Все как будто в порядке: Сергей у себя на заводе большой начальник, почти что профессор. Но... По всему видать, какая-то беда его гложет. Он, конечно, сам не признавался, а я не спрашивал — при таком горе о себе не говорят, но напрасно Женя так радовалась. Неладно с Сергеем. Душа у него болит. Или сам ее измучил, или люди... Надо бы написать соседу. Заодно и облигации отошлю».

Захар нашел тетрадку, шариковую ручку, которую весной купил в райцентре.

«Здравствуй, Сергей Тимофеевич,— начал он письмо.— Сообщаю тебе, что на хату твоей матери уже нашлось два покупателя. Один дает 2500 рублей, а Савка Кошовый дает 2700 и даст больше, потому что сына с невесткой хочет отделить. Я попусту торговаться не умею и не люблю. А цену назначил твердую — 3000 рублей. Хата того стоит. Сам помогал, если ты помнишь, ее строить. Как только продам, сколько надо возьму на памятник, как ты перед отъездом наказывал, а остальные вышлю по почте. Памятник закажу самый лучший, а так как их у нас делает тот самый Савка Кошовый, то ему часть денег и вернется. Вкладываю в это письмо семнадцать облигаций, какие были у матери, а выигрышные они или нет, ты уж сам узнай...»

Захар отложил ручку, подумал и начал писать уже совсем о другом:

«...Может, и не мое это дело, сынок, но показался ты мне в мае совсем больным. Как то яблоко: сверху румяное, красивое, а внутри червяк сидит... Ты все-таки побереги себя, Сергей Тимофеевич. Может, возьми отпуск, да и приезжай к нам как на дачу? А если понравится, то хоть на целый год. Про воздух там или пляж агитировать не буду — они у вас, наверное, лучше. А вот душой только на родине и отдохнешь. Короче, приезжай в любое время».

Захар отложил готовое письмо в сторону, стал просматривать остальные бумаги: может, еще где облигации завалились.

Его внимание привлек знакомый конверт, которых не смотрелся, когда вернулся с фронта. «Похоронка на Тимофея,— догадался Захар.— Тоже надо сыну переслать». В конверте было письмо, по-видимому, от командира. Захар прочитал первые строки «...экипаж Вашего мужа в бою около села Скирманова подбил три фашистских танка. Однако в результате прямого попадания машина

Тимофея Степановича загорелась. Он был тяжело ранен и через полчаса умер на моих глазах от потери крови. Когда был еще в сознании, просил, чтобы Вы, Евгения Яковлевна, не убивались и были счастливы, что, конечно, невозможно в такое тяжелое для Родины время. Случилось это страшное для Вас и нас, друзей Тимофея Степановича, событие на Истринском направлении, под Москвой».

Не веря своим глазам, Захар достал из конверта само извещение. Как так «под Москвой»? Не может быть! Тимофей ведь под Берлином погиб... Да и знали бы в селе о похоронке. Может, Женя ее в райцентре получила?.. Ветхая бумажка наконец развернулась...

«Уважаемая... Ваш муж лейтенант Лахтин Тимофей Степанович... погиб смертью храбрых в боях... 21 ноября 1941 года...»

Захар еще раз прочитал похоронку. Бумажка вдруг выпала из рук, комната качнулась перед глазами. «21 ноября! В первый год войны! Выходит дело — Сергей сын! Сергей Захарович, его... Зачем же ты так, Женя?! За что казнишь всю жизнь?»

Так говорила обида. Но жила в нем уже и мудрость, которая стала утешать да урезонивать: «А чего же ты хотел: чтобы Женя стала отнимать мужа у другой солдатки? Чтобы, гордая, краденую любовь стала узаконивать? Перед людьми и совестью своей стыд принимать? Не такая она... Сам знаешь. А после, когда Настя умерла?.. Поздно было. Парень-то вырос. Зачем у него легенду отнимать да давний обман раскрывать?»

Захар закурил, открыл окно. Над кустом сирени висела полная луна. Как тогда, той ночью... Теперь ему ясно, почему она просила: «Говори. Все, что хочешь, говори. На всю жизнь хочу тебя послушаться...» И ласкала — на всю жизнь. К утру он забылся на полчаса, задремал. А проснулся от странного ощущения: плечо мокрое и горячее. Женя плакала, уткнувшись ему в плечо. В молочном утреннем свете, худенькая и белая,

будто ветка вишни, она показалась ему облачком. Зоревое-перьевое, дрожит рядом, дунешь — улетит... Он подумал тогда, что Женя сплетен испугалась — как бы в селе не узнали, Тимофею после войны не доложили. Стал, глупый, утешать. А теперь открылось: нечего ей было бояться. Судьбу она свою оплакивала, которую сама же и выбрала.

Захар докурил «Приму» до того, что окурок прижег пальцы. Он распечатал конверт, который уже успел заклеить, достал письмо к Сергею. И тут вся решительность и радость вдруг куда-то девались. Что написать и как написать? Нужно ли вообще об этом писать?

Захар долго думал, потом сделал в конце письма короткую приписку:

«Сынок! Несколько минут назад в бумагах твоей покойной матери я нашел такое, что перевернуло мне всю жизнь. Дело прошлое, но очень важное и касается оно нас с тобой. В письме о таком не напишешь... Поэтому приезжай теперь непременно!»

Несмотря на поздний час, Захар отнес письмо на почту, бросил в ящик. Помолодевший и счастливый, он возвращался домой и прикидывал: через сколько дней сын получит его весточку? Догадается ли он, что произошло? Наверное, догадается. Должен догадаться.

Лахтин открыл глаза и вздрогнул от неожиданности: на другой стороне кровати возле спящей Ляли нахально развалился... его двойник.

— А девочка хороша, — гнусным шепотом заключил Йегрес и плотоядно ухмыльнулся. — Жаль, черт возьми, что я не материальный. Роль святого духа, как ты понимаешь, меня мало устраивает.

Он протянул свою черную лапу, театрально положил ее Ляле на грудь.

— Ты чего сюда заявился?! — прошипел Лахтин. — Убирайся!

— И не подумаю,— засмеялся Йегрес,— собственник проклятый... Конечно, если ты будешь выступать, то я могу и уйти. Слетаю, например, к Светлане. Она еще тоже не вставала...

— Пошли на кухню,— взмолился Лахтин.— Разбудишь Ляльку — что я ей скажу?

Он осторожно выбрался из постели, прикрыл за собой дверь спальни. Двойник объявился на кухне прямо из стены. Однако полностью выходить не стал: высунул возле холодильника торс, оперся плечом о шкафчик.

«Если Лялька проснется и увидит этот живой рельеф, точно с ума сойдет,— подумал Лахтин.— Надо поскорее его отправить... Впрочем, кроме меня, его, кажется, никто не видит...»

— Небось в мечтах уже премию получаешь? — полюбопытствовал Злодей и покачал головой.— Шанс, конечно, есть. Но ты себя, Сергей, на худшее настрой. В случае чего — не так обидно будет.

Он впервые назвал Лахтина по имени. Тот удивился: «С каких это пор? Обычно двойник говорит пренебрежительно и грубовато. Насмешничает, подкалывает, язвит...»

— Ты, кстати, тут особо не сибаритствуй и Ляльку не обижай,— назидательно сказал Йегрес.— Прогонит.

— Кого? Меня? Мышка меня прогонит? — Лахтин пожал плечами.— Я вижу, Злодей, ты переутомился. Заговариваться стал.

— Моё дело предупредить... Еще тебе два совета впрок. Вишневого в серьезное дело не пускай — увлечется, потом не оторвешь. Бери пока его идеи и внедряй их... осваивай. А его заканчивать диссертацию посади — он тебе за это в ножки поклонится. Это первое. Второе: не тяни с переводом Светланы. Ты же знаешь, в отделе главного механика освободилось хорошее место. Девушка толковая, перешла на третий курс — уговори Павла Александровича, чтобы взял. Чем раньше уберешь ее из приемной, тем скорее твоей станет.

— Все-то ты рассчитал. Стратег...

— Это ты рассчитал. И сам себе советы даешь,— ухмыльнулся двойник.

— Опять темнишь? — Лахтин включил конфорку, поставил на плиту чайник.

— Так я весь из темени,— сказал Йегрес и прислушался.— Все, конец аудиенции. Проснулась твоя милашка. Помни, что я сказал, и будь здоров.

Он нырнул в водопроводный стояк, и трубы на всех этажах загремели, будто по ним пронесся град камней.

«Полдома, негодяй, разбудил»,— подумал Лахтин, возвращаясь в спальню. Он завалился на кровать, будто большой кот, и стал целовать Лялю. И маленькая женщина в самом деле проснулась.

— Ты тупик моих желаний,— прошептал он довольно пошловатую фразу, которую услышал в КБ от Генина, обхаживавшего в коридорах всех встречающих сотрудниц.

Ляля высвободилась:

— Чайник дребезжит, слышишь?

Потом она готовила завтрак, а Лахтин ошивался на кухне и, сам того не замечая, мешал: снова фальшиво и громко напевал о «неудачнике», целовал Лялю, когда она отцеживала картошку, курил.

«Бог мой,— с раздражением подумала Ляля.— Ведь он всерьез полагает, что весь мир создан специально для него, Сереженьки Лахтина, для его пользования. А уж я и давно...— Она попробовала успокоить себя.— Сережа, конечно, эгоист, но и ты не лучше. Тебе мало владеть им по случаю. Тебе подавай его целиком и навсегда — обычная женская логика. А он — обычная мужская логика — этого не хочет. Да, больше не хочет, чем не может, потому что с Тamarой его уже долгие годы ничто не связывает. И ни с кем не связывает. Разве что со своим отражением в зеркале...»

И тут Ляля вдруг нечто поняла и даже испугалась своего открытия: она повторяет привычные соображения, а на самом деле не хочет им владеть — ни теперь, ни

тем более всегда. Мысль была отчетливая и определенная, но Ляля поспешно прогнала ее прочь. Съездит в Мацесту, отдохнет. А там и сентябрь. Пойдет на работу, привезет к себе Димку... А Сергей... Не хочется сейчас копаться в их отношениях. Само собой все решится.

Они вернулись в комнату.

— Мышка, я принимаю волевое решение.— Лахтин допил кофе, встал.— Подскажи, где твой билет на поезд?

— На телевизоре,— машинально ответила она.

— Ага, вот он, купейненький. Раз ты меня любишь, а это факт, значит, остаешься. А соблазн купейненький...

Он разорвал билет, выбросил обрывки.

— Ты согласна, Мышка? — спросил он, протягивая к ней руки.— Великолепный принцип: все, что мешает нам быть счастливыми,— в мусорное ведро!

— Гениально! — подтвердила Ляля, и губы ее задрожали.— По крайней мере, эффектно, как в кино. Ты не подумал, что я могла бы сдать билет?

— Мышка, я не узнаю тебя! — вскричал Лахтин, привлекая ее к себе.— Тратить наше драгоценное время на прозу жизни! На какие-то рубли?! Опомнись!

— Опомнилась,— чужим голосом сказала Ляля и решительно высвободилась из его объятий.— Может, и путевку заодно порвешь? Она, кстати, ровесница наших отношений — я ее четыре года дожидалась!

Пораженный ее тоном, Лахтин даже отступил на шаг, чтобы лучше разглядеть маленькую женщину.

— Не может быть,— сказал он.— Ты сердишься? Из-за этой чепухи? Да я тебе десяток путевок достану. Выбирай любой курорт, вплоть до международного.

— Это не проза жизни,— зло ответила Ляля.— Это моя жизнь. Ты приходишь ко мне отдохнуть, на полный пансион. Я уже не говорю о том, что трачу на тебя душу. Но знаешь ли ты, мой романтический и ультрасовременный любовник, что один твой визит съедает поло-

вину моей зарплаты?! Что я потом с философским видом жую в школьном буфете пирожки и запиваю их почти бесплатным молоком? Что я молода и мне хочется носить красивые платья и хоть изредка надевать свои дешевые украшения...

— Я... я не знал,— забормотал Лахтин, лихорадочно шаря по карманам,— Никогда не думал о быте, не придавал значения... Я заплачу, Ляля, я за все заплачу... Ты извини, пожалуйста. Я куплю новый билет...

— Да разве в деньгах дело? — звенящим голосом ответила она, не замечая, что по щекам побежали слезы.— Ты чудовище, Сергей! Бесчувственное чудовище, которое живет только для себя! Такие, как ты, не просто потребители. Вы активные потребители. Вы потихоньку приспособливаете мир, переиначиваете его, чтобы вам в нем было удобно. Это особенно страшно. Ведь раньше вы приспособливались сами, а сейчас все наоборот.

— Лихо,— криво улыбнулся Лахтин.— Ты прям-таки государственный обвинитель, Мышка.

— Перестань меня так называть! — Ляля топнула ногой.— Я не знаю, Сережа, почему ты такой.— Она всхлипнула, на ощупь, как слепая, нащарила стул.— Ты ко мне таким уже пришел... Я не знаю, например, почему гниют яблоки, но всегда отличу гнилое от нормального... Почему вы появились, откуда — не знаю. Но рядом с вами страшно. Как-то, когда ты ушел, вылакав бутылку коньяка и переспав со мной, я нафантазировала: может, вы пришельцы? Ведь вы появились так недавно — лет десять-пятнадцать назад. Вы не стали пробиваться к высшей власти. Там все на виду, сразу скажут «а король-то голый». Вы присвоили себе мелочь — распределение. Стали за прилавки, взяли ключи от подсобок, списки абитуриентов и ордера жилищных кооперативов... Вы поселились в обществе, будто вирус в организме...

— И все это я, Лахтин? — Он почти не воспринимал ее обвинения, потому что его ошеломило и напугало

одно слово, которое она бросила ему в лицо еще в начале этой нелепой сцены: чудовище. Что это — совпадение, случайность? Или Ляля что-то узнала о двойнике, о его постыдной игре или душевной болезни?

— Между прочим,— сказал он, вяло подыскивая контраргументы,— мы все потребители. И нечего этого стыдиться.

Ляля удивленно взглянула на Лахтина.

— Хитрый мой доктор наук.— Она засмеялась.— Тебе просто нечем крыть. Душа для тебя давно пустой звук, абстрактная величина. А вот желание все иметь и всем попользоваться ты будешь защищать до последнего дыхания. Я тоже живу в мире вещей и потребностей. Это нормально, по-людски. Но ваши вещи и потребности — чужие. Чуждые. По существу. За них нужно продавать душу, милый. И предавать.

— Мне же больно, Ляля,— хрипло сказал Лахтин.— Опомнись. Что же ты бьешь без разбора, что ты хлещешь?! Неужто и впрямь я такое чудовище?

Она подошла к журнальному столику, возле которого сидел Лахтин, взяла из его пачки сигарету.

— Я четыре года терпела,— сказала Ляля.— Потерпи и ты, залетный мой. Скажи лучше: что тебе сегодня приснилось?

— Ну и переходики у тебя! С ума можно сойти,— Лахтин пожал плечами.— Из детства что-то, не помню...

— Значит, было царство?

— Какое еще царство?! — вскочил Лахтин. Он наконец, достал портмоне, приоткрыл его, закрыл, снова открыл.

«Не знает, как поступить,— брезгливо подумала Ляля.— Бойся, что швырну его сребреники ему в лицо. Если все доставать, то и отдавать все надо. Отсчитывать неудобно. А все отдавать не хочется».

— Ты не жмись,— грубо сказала она.— Я за четыре года много заработала. Так и быть — облегчу тебе душу. Ты же половину грехов сразу спишешь. Откупился, мол...

А про царство упоминала, так это опять-таки о душе. Было же у тебя хоть что-нибудь там раньше.

— Не твое дело! — окрысился Лахтин. Он отсчитал несколько купюр и демонстративно швырнул их на диван. — Было и есть.

— Было, конечно, — согласилась Ляля. — Маленькое, захудалое. Но ты и его отдал. За коня! За то, чтобы быть на коне. Все царство души — за паршивую клячу удачи... Говоришь — есть? Ой ли.

— Плевал я на твое царство! — фальцетом выкрикнул он и, натываясь на вещи, пошел в коридор. Хлопнула дверь.

Маленькая женщина опустила руки и посмотрела на пол так, будто несла-несла гору посуды и вдруг все разом уронила.

Заплакать или рассмеяться?

Она все-таки заплакала. Разбитого не жаль. А вот украденного жаль всегда.

Сушь, которая две недели подряд стояла над Гончаровкой, в этот вечер как-то притомилась. Дождя ничто не предвещало, но давление стремительно падало, и люди, устав раньше обычного, раньше и ко сну собрались.

К полуночи чистые звезды подернулись дымкой, но в селе все еще стояла настороженная, болезненная тишина. Не шелохнется пыльная листва, не прогремит ведро о сруб колодца, не коснется ласково слуха девичий смех.

Часом позже с юго-запада, где уже несколько раз сверкали сухие зарницы, на Гончаровку стремительно надвинулся широкий грозовой фронт. Звезды погасли, будто их задул промчавшийся над селом ветер. Обрадованно прошумела листва. В ответ небо грозно заворчало и воткнуло в каменный лоб ближайшего холма молнию. Хлынул дождь.

Захар лег рано, но уснуть долго не мог. Ломило в

висках, перед глазами мельтешили белые мухи. Он ворочался, представляя, как его письмо едет где-то в почтовом вагоне, пытался мысленно заглянуть в квартиру Сергея, но почему-то, кроме зеркал и ковров, ничего не мог представить. В богатых домах, говорят, всегда много ковров. Наверное, есть еще книги. Ведь Сережа — его Сережа! — как-никак ученый. Почти что профессор. Вспоминал Захар также жену сына, а особенно внучку, но и из этого ничего не получилось. Видел-то он их всего раз, лет шесть назад, да и то мельком. Не пойдешь же сдуру в хату, когда там гости... Если бы он знал; что не чужие они ему. Если бы знал!

Грома Захар, как ни странно, не слышал, а вот лопотание дождя уловил сразу.

«Слава богу,— подумал он, улыбаясь про себя.— Напоит наконец землю. Пыль прибьет, окна промоет».

С этой мыслью Захар заснул.

И приснился ему сон...

Будто по всей Гончаровке вишня цветет. Много ее — как до войны. Садок возле садка. И везде праздничное белое сияние, музыка и люди. Нарядные, веселые. Друг другу улыбаются, друг с другом заговаривают.

«Свадьба, что ли?» — удивился Захар.

Пошел и он себе. Да так легко, что и не поймет: идет он или летит.

Тут музыка громче заиграла. Быстро. Горячо.

Люди перед Захаром расступились. И деревья в сторону тоже отошли.

Глядит Захар, а перед ним посреди сада его сын, Сергей. Молодой, красивый. И сорочка на нем белая, вышитая. Лица, правда, толком не разглядеть: солнце землю пригрело, парует она и вся как бы в мареве. Пляшет сын. Голову запрокинул, руки в сторону развел, будто всех обнять хочет, улыбается. И все по кругу, по кругу. Быстро, легко, красиво.

«Молодец, сынок!» — хотел крикнуть Захар, да так и занемел.

Вдруг увидел он, что никакой это не пар, а дым горький. И не комья молодой земли под босыми ногами сына, а головешки. Да не остывшие, а бело-сизо-алые. Смотреть на них — и то больно!

«Беги, Сережа! Ко мне, сынок!» — кричит Захар и с ужасом понимает, что не слышно его голоса. Нет его!

И люди не слышат, ни о чем не догадываются. Ходят рядом, переговариваются, на Сергея уважительно поглядывают. Танцует мол, красиво.

Рванулся Захар к сыну, а ноги — ни с места.

Тут Сергей лицом к нему повернулся.

Оказывается, на лице его вовсе не улыбка, а мука лютая. Плачет он, а слезы жар сразу сушит. Зовет отца — губы только в гримасу боли складываются.

«Где ты, дождь?! — обратился к небу Захар. И опять без слов: — Спаси сына моего! Погаси угли!»

Нет дождя.

А Сергей уже последние силы теряет. Шаги его по огню все неувереннее становятся, все медленнее. Вот-вот упадет.

Напрягся Захар так, что жилы на шее вздулись, про-рвал-таки немоту.

«Подожди, сынок, — я сейчас...» — крикнул он и про-снулся.

Ничего не понимая, Захар несколько минут всматривался во тьму. Перед глазами все еще стояло обезображенное болью лицо сына, грозно светились раскаленные угли.

«Что за наваждение? — испуганно подумал старик, вспоминая подробности сна. — Не к добру такие танцы».

Захар встал с кровати, поспешно закурил. Он так разволновался, что в груди опять закололо, будто сердце при каждом ударе натывалось там на осколок стекла.

«Письмо — ерунда, — подумал Захар. — Непонятное оно, одни намеки. Да и идти будет дня три-четыре. Дурень я, дурень. Такая радость — сын отыскался, а я письма шлю. Ехать надо! Самому. Лететь! Самым ско-

рым самолетом. И не когда-нибудь, а прямо сейчас. Утречком».

Он включил свет и стал собираться в дорогу, прикидывая, какие гостинцы можно взять в Киев и какие слова он скажет своему Сереже.

Придерживаясь за перила лестницы, Лахтин вышел на улицу.

Некоторое время бездумно стоял возле дома Ляли, не зная куда идти и что делать. Непостижимо! Его Мышка — и этот... брезгливый, уничижительный тон. Продуманные фразы и суждения, будто она зачитывала обвинительное заключение. Но главное — их суть! Все преувеличенно, тенденциозно подобрано, заострено. Чтобы больнее ранить! -Царство, душа, деньги... Получается, что он чуть ли не губитель человечества. Какая муха укусила Ляльку? Откуда у женщины такая рассудочность и рационализм? Возможно, он в чем-то и был не прав. Невнимательный там, эгоистичный. Но ведь такова современная жизнь. Так живут если не все, то многие. Никто никому не нужен, Ляля. И я тебе, значит, не нужен... Боже, как давит в груди! Я стал истериком... Ничего страшного не произошло. Ну озлилась Лялька, наговорила гадостей. С кем не бывает. Не прогнала ведь, не оттолкнула. Значит, все образуется.

Лахтин спустился мимо «Детского мира» на Крещатик, выпил в автомате газированной воды. Немилосердное солнце плавило асфальт, загоняло прохожих в тень.

«Надо вызвать машину,— подумал Лахтин.— А Мышку придется поддержать на расстоянии. Или вообще... С глаз долой — из сердца вон».

Он нашел в кошельке двухкопеечную монету, зашел в телефонную будку.

— Света, я на Крещатике,— сказал Лахтин секретарше.— Найди, пожалуйста, Виктора. Пусть подъедет к «Детскому миру».

Он повесил трубку, и тут сердце его подозрительно замерло, будто поднималось, поднималось по лестнице, а затем споткнулось и с ходу перепрыгнуло полпролета.

Лахтин вернулся к автоматам и на всякий случай проглотил таблетку новокаинамида, запив ее теплой водой. Затем прошел к троллейбусной остановке, присел в тени.

— Ну где же ты, Злодей?! — привычно позвал он.

Йегрес появился не сразу, а как бы просочился, будто дым, из кроны дерева. В нем что-то клубилось и посверкивало, пока из тьмы не сформировался человеческий облик.

— Привет, Чудовище, — сказал двойник и присел рядом с Лахтиным. — Достукался? Я тебя утром предупреждал.

— Не надо, — поморщился тот. — Мне и без тебя тошно.

Он подумал, как бы удивились люди, если бы увидели рядом с ним его негатив, да еще бестелесный.

— Сейчас тебе вдвойне тошно будет, — заявил Йегрес. — Я ухожу от тебя, родственничек. Навсегда.

— Как?! — мысленно вскричал Лахтин. — И ты уходишь? Вы что — сговорились с Лялькой? Впрочем, чепуха. Ты не можешь уйти. Ведь наши миры сопредельные, зеркальные.

— Еще как могу, — Йегрес вздохнул. — Наши миры, оказывается, расходятся. Кроме того, мне запретили с тобой встречаться. Наши умники считают, что мы плохо влияем друг на друга. И даже больше того...

— Я — на тебя? — удивился Лахтин.

— Получается, что так, Чудовище. — Йегрес пожал плечами, черные губы сложились в улыбку. — Ты и впрямь оперился. Стал быстрее соображать, появилась решительность. Можно уже за ручку не вести... Умники говорят, что наши отношения мешают сосуществованию двух миров. Мы расталкиваем их, как два одноименных заряда.

— Не слушай их, Злодей! — то ли про себя, то ли вслух взмолился Лахтин. — Нам хорошо вдвоем. Мы ругаемся, но мы и дополняем друг друга. Кроме того, ты не прав. Мне трудно... решать все самому. Я привык... с тобой. Ты всегда был рядом. Как же теперь — без тебя? Жить так сложно.

— Жить просто, — насмешливо прищурился Йегрес. — И не скули, пожалуйста. Кое в чем ты уже превзошел учителя. Далеко пойдешь, если... не остановят. — И двойник хихикнул. — Главное — не жди милостей, как завещал ваш Мичурин. Дерзай, родственничек! Учти: если ты не приспособишь этот мир для своих нужд, он тотчас приспособит тебя. Причем использует и выбросит. А Ляльку ты не слушай. Каждый сражается за то, что он имеет. А у нее, кроме души, ничего нет.

Йегрес поднялся, брезгливо сплюнул. Черный сгусток слюны полетел в сторону пассажиров, столпившихся на остановке. Лахтин замер — от страха у него даже засало под ложечкой. «Я пропал! Скандала не избежать. Йегреса люди не видят, получается, что плюнул я... Сейчас вызовут милицию... Протокол, фамилия...»

— Очнись, Чудовище! — повелительно сказал двойник. — Все я тебе дал, а вот от страха не вылечил. Ну, да ладно. Проживешь...

«Не поняли! Не увидели!» — обмирая от радости, подумал Лахтин.

— Я пошел, — напомнил Йегрес. — Будь позубастее, родственничек. И не поминай лихом.

Он неторопливо пошел-поплыл наискосок через Крещатик.

Лахтин, хоть и понимал, что ничего не случится, весь сжался, когда синий «Жигуленок» — первый из вереницы автомобилей, мчавшихся по улице, — врезался в расплывчатую фигуру двойника, прошел ее, а за ним замелькали другие машины, зловонно дыша бензином и перегретым металлом.

Йегрес шел сквозь железный поток, не замечая его, и сердце Сергея Тимофеевича вдруг наполнилось гордостью за двойника и одновременно за себя: плевали они и на людей, и на весь этот мир. Раз их с Йегресом не видят, не замечают — тем лучше. Значит, они вольны жить, как хотят.

— Прощай, Злодей! — прошептал Лахтин. — Не бойся, нас уже никто не остановит.

Он почувствовал в себе такую силу, такую дерзкую уверенность, что даже прикрыл глаза, чтобы прохожие не увидели в них торжества. Его буквально распирали эти два чувства, тянули ввысь. И сладко, как в детстве, и замирает сердце от страха и восхищения. Еще немного, и он тоже взлетит, заскользит невесомо над Крещати́ком — сквозь ревущий поток машин, усталые дома, полумертвые от жары деревья...

Он вдруг услышал настойчивые голоса, которые бесцеремонно ворвались в его грезы, но открывать глаза не стал.

— Расстегните ему рубашку, — сказала какая-то женщина.

Лахтин без труда определил по голосу, что ей за пятьдесят и что у нее небольшая зарплата.

— Товарищи, может, у кого есть нитроглицерин? — вмешался мужской голос.

«Кому-то поплохело, — машинально отметил Лахтин и представил, как собираются рядом зеваки, как суетятся люди, не зная, чем помочь тому, кто упал на асфальт. — Мое дело сторона, я не врач. И вообще... Могу я хоть раз отключиться от суеты и никого не видеть, ни о чем не думать, ни о ком не переживать».

Голоса-реплики прибывали:

— «Скорую помощь» вызвали?

— Да, вон тот гражданин звонил...

— Позвоните еще... — Голос был старческий, дребезжащий: — Юноша, потрудитесь, пожалуйста, набрать ноль три. Пока они соберутся, человек помереть может.

— Есть вода,— обрадовался женский голос.— Воду несут...

«Сердце, наверное, хватануло,— подумал Лахтин о несчастном.— Интересно кого — молодого или старого? Может, все-таки открыть глаза, полюбопытствовать?»

Как бы в унисон его мыслям в говор толпы ворвался возбужденный напористый голос профессиональной сплетницы, боящейся пропустить зрелище и пробивающейся, по-видимому, сейчас вперед:

— Кому, людоньки, плохо? Дайте поглядеть, говорю. Кому плохо?

С ТОЙ ПОРЫ, КАК ВЕТЕР СЛУШАЕТ НАС

СНАЧАЛА ОН ПОСТРОИЛ ГЛАВНУЮ БАШНЮ — ДОНЖОН — И ПОДНЯЛ ЕЕ НА НЕВИДАННУЮ ВЫСОТУ.

ЗАТЕМ В ОДНО МГНОВЕНИЕ ВОЗВЕЛ МОЩНЫЕ СТЕНЫ И ПРОРЕЗАЛ В НИХ БОЙНИЦЫ — ДЛЯ КРАСОТЫ, КОНЕЧНО.

ПО УГЛАМ ОН ПОСАДИЛ ТРИ БАШНИ ПОНИЖЕ. ИЗ ТОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА — БЕЛОГО, СВЕРКАЮЩЕГО НА СОЛНЦЕ, КАК САХАР.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ХЛОПОТ БЫЛО С ДОМОМ.

ОН СДЕЛАЛ ЕГО ПРОСТОРНЫМ, С ВЫСОКИМИ СТРЕЛЬЧАТЫМИ ОКНАМИ, ОТКРЫТОЙ ГАЛЕРЕЕЙ И ТЕРРАСОЙ. ГОТИЧЕСКУЮ КРЫШУ УКРАСИЛ ВЫСОКИМ ХРУПКИМ ШПИЛЕМ, КОТОРЫЙ ПРИШЛОСЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.

ОТКРЫТОСТЬ И НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ДОМА НЕ СОЧЕТАЛИСЬ С ОГРОМНЫМИ БАШНЯМИ И ТОЛСТЫМИ СТЕНАМИ, НО ЕМУ ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ПРАВИЛОСЬ. ПОХОЖИЙ ЗАМОК ОН ВИДЕЛ В ПЯТНАДЦАТОМ ИЛИ ТРИНАДЦАТОМ ВЕКЕ, КОГДА БЫЛ МАЛЫШОМ И НОСИЛСЯ ПО СВЕТУ В ПОИСКАХ РАДОСТЕЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ЗАМОК ТОТ СТРОИЛИ, ПОМНИТСЯ, В ШВЕЙЦАРИИ, ДАЛЕКО ОТ КАМЕНОЛОМНИ. РАБОТЫ ВЕЛИСЬ МЕДЛЕННО — КАМЕНЬ ДОСТАВЛЯЛИ ВСЕГО ЛИШЬ НА ДВУХ ИЛИ ТРЕХ ПОВОЗКАХ. ЕМУ НАДОЕЛО НАБЛЮ-

ДАТЬ, КАК ВОЗЯТСЯ ЛЮДИ НА СТРОЙКЕ — НЕ-СТЕРПИМО МЕДЛЕННО, БУДТО СОННЫЕ МУХИ. ВЫБРАВ КАК-ТО ДЕНЬ, ОН, ИГРАЮЧИ, НАНОСИЛ СТРОИТЕЛЯМ ЦЕЛЮЮ ГОРУ ИЗВЕСТНЯКА И ГРАНИТА...

— ТЫ ЗАБЫЛ О ВОРОТАХ,— НАПОМНИЛА ОНА.

ОН ТУТ ЖЕ ПРОРУБИЛ В СТЕНЕ АРҚООБРАЗ-НЫЙ ПРОЕМ, А СТВОРКИ ВОРОТ СДЕЛАЛ КРУ-ЖЕВНЫМИ.

ЗАКОНЧИВ ГРУБУЮ РАБОТУ, ОН ВЕРНУЛСЯ К ДОМУ И УКРАСИЛ ЕГО ГОРЕЛЬЕФАМИ И АН-ТИЧНЫМИ СКУЛЬПТУРАМИ. ЗАТЕМ БРОСИЛ НА СТЕНЫ И АРКАДУ ГАЛЕРЕИ ЗАМЫСЛОВАТУЮ ВЯЗЬ ОРНАМЕНТА. В СТРЕЛЬЧАТЫХ ОКНАХ ОН УСТРОИЛ ВИТРАЖИ.

ДЕЛО БЫЛО СДЕЛАНО.

ОНО СТОИЛО ПОХВАЛЫ, И ОН ТЕРПЕЛИВО ЖДАЛ ЕЕ.

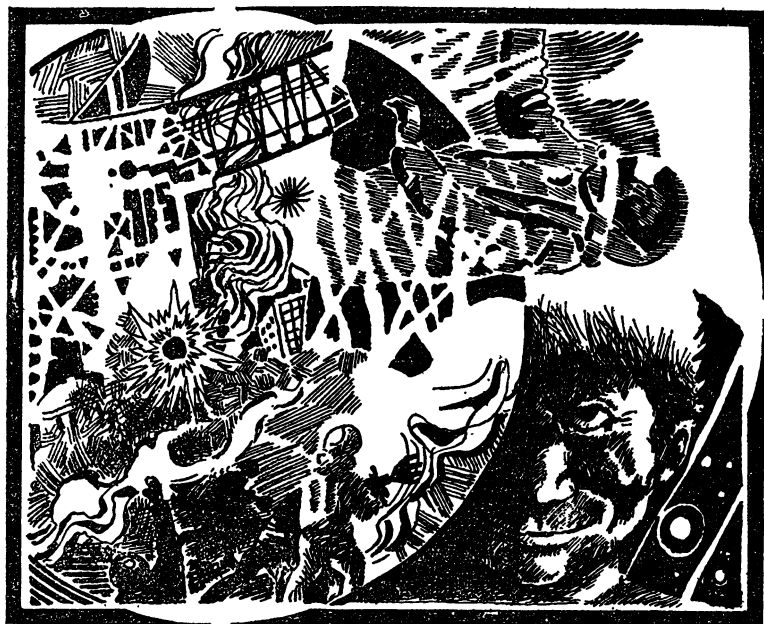
— НО ВЕДЬ Я НЕ БУДУ ЖИТЬ В ТВОЕМ ЗАМ-КЕ,— СКАЗАЛА ОНА.

Мария уже не загорала, а просто лежала на берегу, не имея сил лишний раз подняться и окунуться в море. Солнце плавало ее тело, дурманом вливалось в жилы. Еще немного — и закипит кровь, задымится шоколадная кожа, вспыхнут волосы...

— У нас с тобою никогда не будет детей,— лениво сказала Мария, не открывая глаз.

В красном сумраке, которым сквозь плотно сомкну-тые веки наполнило ее солнце, возникли какие-то не-внятные, бессвязные слова — бу-бу-бу. Пробились извне и пропали. Это голос Рафа. Он, по-видимому, удивлен. Или ехидно справляется о здоровье. Не перегрелась ли, мол, она?

— Дело не во мне,— пояснила Мария.— Ты ужасно пудный, Раф. Я от твоей болтовни всякий раз засыпаю. А во сне детей делают только лунатики.



Она засмеялась, представив, как два лунатика на ощупь ищут друг друга, а затем молча предаются любви. С бесстрастными, окаменевшими лицами, похожими на посмертные маски, с открытыми глазами, в которых, будто две льдины, плавают отражения луны.

— Не сердись,— ласково сказала она, зная, что Маленький Рафаэль уже тянется к рубашке и шортам. У него, как у большинства недалеких людей, гипертрофированное чувство собственного достоинства. К тому же он совершенно не понимает юмора.— Ты ведь уверен, что я поломаюсь, поломаюсь и рыйду за тебя замуж. Но этого никогда не будет. Оба мы по-своему правы. Зачем же все усложнять и портить друг другу нервы?

Он бросил что-то сердитое. Нечто вроде: как мы можем быть оба одновременно правы, если... Нет, какой он все-таки нудный!

Ей опять заложило уши, хотя Мария сегодня ни разу не ныряла. Бывает такое: тебе говорят, а ты не слышишь. Смотришь на собеседника будто через толстое стекло и не понимаешь — чего эта обезьяна так кривляется?

Обиделся. Уходит. Беги, Раф, беги! Завтра ты как ни в чем не бывало приедешь к ужину и будешь опять приторно ласков и предупредителен. Такие, как ты, таких женщин, как я, не бросают. Извини, Раф, но сегодня мне хочется побыть одной.

Взревел автомобильный мотор.

«Наконец-то! — подумала Мария. — Только не перегазовывай, а то застрянешь в песке и мне опять придется с тобой возиться...»

Уехал!

Мария открыла глаза, огляделась. Вокруг — ни души. Песчаные дюны, сонное море. Только на западе, километрах в двух отсюда, едва видны деревья и дома. Там, конечно, на пляже полно, не то что здесь — на косе. Впрочем, уже полдень, и все нормальные люди обедают или отдыхают. Хорошо все-таки быть ненормальным и жить, как тебе хочется.

На западе, в выжженной пустыне неба, висело одинокое облако.

«Будет дождь, — лениво подумала Мария. — Парит еще с утра».

О Маленьком Рафаэле она больше не вспоминала. Уехал — и пусть. Она всегда говорит, что думает. Пора бы ему привыкнуть.

С самого утра Марию одолевало какое-то смутное томление и беспокойство. Хотя неправда. Когда проснулась, ничего подобного не чувствовала. И за завтраком все было в порядке. Потом за ней заехал Рафаэль. Она,

как всегда, не захотела садиться в его машину — чтобы позабавиться на шоссе. Раф не любит, когда она впритирку подводит свою не раз битую малолитражную козьявку с проржавевшим дном к его самовлюбленному бульдогу или пулей выскакивает вперед, чтобы лихо развернуться перед самым носом его автомобиля.

«И все-таки — откуда это томление? Оно появилось здесь, на берегу... Все время как будто чего-то ждешь. Все время кажется: что-то должно произойти... Тяжелый штиль и каменно неподвижное море. Засахарившееся от зноя небо... Все это давит на мозги. По-видимому, падает атмосферное давление... Это томление похоже на ожидание перемен. Хочется, чтобы проснулся ветер, налетел шторм. Чтобы взял эту полусонную землю, как погремушку, и устроил хорошенький тарарам».

Но ветра не было, и Мария вновь прикрыла глаза.

Ее опять заполнили покой и красный сумрак.

И вдруг...

В ее дрему неожиданно-негаданно вплелись странные звуки.

Зашипели тысячи змей.

Зажужжали миллионы злых пчел.

Откуда-то взялись десятки поездов и закружили вокруг нее, грохоча и воя.

Мария вскочила, открыла глаза и тут же зажмурилась — в глаза швырнуло песком.

Она слабо вскрикнула, не понимая, что происходит, и еще не успев испугаться.

В следующий миг на нее дохнуло нестерпимым жаром.

Воздух куда-то девался, будто его и не было.

Его раскаленные остатки обожгли горло, и вместо крика из груди Марии вырвался стон.

Жесткие огромные ладони подхватили ее, сорвали купальник.

Горячие и шершавые, как наждак, они ласкали ее

с таким нетерпением и страстью, что испуганной Марии показалось: вслед за одеждой с нее сейчас сдерут и кожу.

Она попробовала открыть засыпанные песком глаза, но слезы и боль застили свет. Только на миг ей открылось нечто вроде тоннеля или трубы, в бесконечной глубине которой сиял то ли клочок неба, то ли гигантский голубой глаз...

Мария рванулась, чтобы высвободиться, но тот, кто нес ее, даже не заметил этого. Его жадные поцелуи терзали ее почти бесчувственное тело. Мария изо всех сил отталкивала насильника и... не находила его, будто боролась с призраком.

«Кто он? Куда он меня тащит? Что ему нужно?»

По-прежнему не хватало воздуха. Черная мгла удушья гасила последние искры разума.

«Он задушит меня...» — мелькнуло в сознании.

Марии показалось, что его дикий напор и грубая, какая-то нечеловеческая страсть взорвут ее изнутри, сожгут.

Она вскрикнула и потеряла сознание.

Раньше мир состоял из движения.

И оно непрерывно совершалось, вовлекая в свой круговорот воздух и воду, камни и песок, закипая в листьях зеленым хлорофиллом, а в жилах — горячей кровью.

Он знал: останови это движение — и мир погибнет. Он хотел, чтобы движение продолжалось вечно, потому что сам был движением.

Еще мир состоял из красоты.

Она была похожа на целесообразность, но не более того. Потому что целесообразность понятна, а красота — необъяснима. Как объяснить, почему вчерашний закат был унылым, а сегодняшний — прекрасен? И в чем за-

ключается прелесть маленькой изумрудной ящерицы, которая взобралась на камень и тревожно оглядывается по сторонам?

В детстве он считал, что мир еще состоит из музыки, но позже узнал: в природе живут одни лишь звуки. Находить им гармонию умеют только птицы и люди.

Теперь же все разом переменялось.

Повсюду — внутри, снаружи — был огонь. Он клочкотал, рвался протуберанцами, возносился к небу, увлекая за собой и плоть.

Как же он раньше не догадался, что все сущее рождено в огне, пронизано им и только в этом состоянии имеет смысл и предназначение?

Как зовут тебя, птица?

Где взяла ты крошечный серебряный колокольчик, который звенит, переливается в твоём горлышке? Кто ты — жаворонок, коноплянка, колибри? Но главное, почему твои трели, твоё незамысловатое пение так радует сердце?

Мария открыла глаза.

Взгляд уперся в белый потолок, затем переместился влево. Капельница, шкафчик с лекарствами, синяя лампа для стерилизации воздуха... Значит, она в больнице.

А где же птица? Где она так заливается?

Мария повертела тяжелой головой, улыбнулась.

Ну, конечно же. В палате ничего такого нет, окно тоже закрыто. Жаворонок ликует в ней. Он залетел ей в душу и, думая, что это небо, забирается ввысь, в поднебесье, в зенит и стряхивает с крыльев капельки звуков.

«Что за чушь? — удивилась Мария. — Я никогда не была сентиментальной... И почему — больница? Что со мной?»

Она позвонила и несколько минут бессмысленно смотрела в потолок. Ощущение было такое, словно с ней произошло нечто очень хорошее, необыкновенное — жаль, забыла, что именно. Это чувство внутренней гармонии (потому и пела в душе птица!) совершенно не вязалось с больничными стенами, а загадок Мария не любила.

Вошел врач.

Он был молод, однако лицо его выдавало раннюю пресыщенность жизнью. Из тех, кто заученно рекомендует не пить, не курить, заниматься спортом, а сами в охотку пьют, курят и валяются в постели после обильной еды. Хомячок...

— Вы пришли в себя?! — то ли спросил, то ли подтвердил врач. — Прекрасно. Через несколько дней я поставлю вас на ноги.

— Что со мной? — прошептала Мария и не узнала свой голос: хриплый, прерывающийся, будто обожгла чем-то трахею.

— Ничего особенного. Легкий шок, легкие ушибы. Вам повезло: ни одного перелома.

Мария напрягла память, пытаюсь увидеть прошлое, вспомнить, что же с нею произошло. Море, свирепое солнце, болтовня Маленького Рафаэля... Шум отъезжающей машины, полудрема... Что дальше? Все уходит, проваливается в красный полумрак...

— Вы рождены в рубашке, — заметил врач, быстро и ловко осматривая синяки на плече и груди, сбитый локоть.

Мария глянула на Хомячка с легким презрением, вздохнула. Как он похож на ее Рафаэля! Неужели весь мир состоит из болтунов!

— И все-таки... Что со мной произошло? Я хотела бы знать подробности.

Сказала и вдруг с ужасом все вспомнила.

«На меня кто-то напал! Огромный и сильный, потому что я кричала и отбивалась, а он даже не замечал

этого... Он нес меня на руках... Помню руки, огромные ладони, горячие и шершавые, как наждак... Странно, но к ним сейчас нет антипатии... Он швырнул мне в глаза песок и унес... Кажется...»

Мария подняла на врача вопросительный взгляд.

— Читайте газеты,— сухо сказал Хомячок, почувствовав ее невысказанное презрение.— Там есть все подробности.

Он вышел.

Только теперь Мария заметила на столике возле кровати кипу газет. Она привстала, схватила первую попавшуюся, стала листать, не зная, на какой полосе искать сообщение.

«Что это? Мое фото? Что они наплели про меня?»

«...разрушительный смерч, пронесшийся вчера во второй половине дня вдоль побережья... разрушены несколько домов, павильоны и киоски, сорваны крыши... Потоплены лодки... Раненые...»

Но самые неприятные минуты пережила, по-видимому, Мария Д., которую торнадо засосал в свою воронку, поднял в воздух и перенес с косы на берег. Пострадавшая — и это не игра слов — практически не пострадала».

Мария отложила газету, засмеялась.

Значит, всего-навсего смерч. Не было никакого насильника, нападения... Она в самом деле, как говорил Маленький Рафаэль, перегрелась на пляже. Ее подхватил какой-то дурацкий торнадо и крутил в воздухе, будто тряпичную куклу. А она... Бог мой, чего только она не навоображала. Сильные руки, обжигающие ладони, ласки... Какая чушь! И все-таки... странно...

Мария резко оборвала смех, словно задохнулась. Устало откинулась на подушку.

Она не смогла бы объяснить даже самой себе, что к чему, но что-то в открывшейся реальности и ее ощущениях явно не совпадало. От этого щемила душа, глаза наполнялись слезами.

Зачем же тогда пела птица? Чему она радовалась? И с какой стати ее, железную лошадку, которая смело и уверенно скачет по жизни, занесло в чувственное болото? Эти переживания и полутона, возвышенные глаголы... Вся эта дребедень, очевидно, от Рафаэля... И все-таки... Почему ты умолкла, птица?

Мария отвернулась к стене. И снова вокруг нее легла жуткая тишь, которая бывает только перед приходом грозы или урагана.

В огне рождались понятия и образы.

Волосы... Шелковистая трава... Водоросли, колышущиеся в глубине... Перья облаков...

Изгибы тела... Прекрасные зеленые долины и холмы, переходящие друг в друга, как волна переходит в волну... Озаренные солнцем облака... Пушистое снежное убранство... Плавные очертания берегов...

...Первые весенние проталины... Окошко родника среди замшелых камней... Игра света в друзьях горного хрусталя... Неужто все это чем-то похоже на человеческие глаза?

И если это так, то откуда все-таки взялся огонь? Его нет в отдельных чертах, но когда они соединяются вместе — происходит взрыв. Значит, огонь в образе? В ее образе?

После полудня пришел Маленький Рафаэль.

Он принес букет роз, две бутылки виноградного сока и коробку трюфелей. Виновато присел на краешек постели.

— Я не знал, что тебе можно есть, а чего нельзя, — сказал, как бы оправдываясь, и Мария сразу определила: мучается, что оставил ее одну на косе. Ничего, пусть помучается.

— Это же надо,— покрутил он головой, стараясь быть спокойным и ироничным.— На пляже тысячи женщин на любой вкус, а этот шальной торнадо выбрал именно тебя.

— То просто женщины, а я, черт побери, Мария. Мария — значит дева. Дева Мария...

Она засмеялась, и Рафаэль, тотчас забыв об их разговоре, ткнулся носом ей в щеку, заговорил — быстро и путано:

— Ты... не знаешь... Я вообще... Я так испугался... Этот смерч... Я его сам не видел, но что он натворил на берегу... Тебя нет... Я приехал к тебе домой, а тебя нет... Я подумал, что тебя, что ты... Стал звонить по больницам...

— Глупенький,— прервала его Мария.— Ты же знаешь: я не из тех людей, с которыми бывают несчастья. Даже смерч меня не тронул. Ну, схватил, потащил. А потом? Как только понял, с кем имеет дело, так сразу и смылся.

Маленький Рафаэль тоже засмеялся — коротко и обрадованно. Сейчас он чем-то напоминал молодого и глупого пса, на которого сначала накричали, а затем погладили.

В душе Марии шевельнулась благодарность. Что ни говори, а этот парень с широким лицом и вьющимися волосами — настоящий друг. Надежный, преданный. И хватка у него есть к любому делу — своего не упустит. С таким удобно жить. Он охотно возьмет на себя все и будет, чудак, считать, что ему крупно повезло.

— Есть новость,— сказал Маленький Рафаэль.— У меня наклеивается крупный заказ — этикетки для прохладительных напитков. Их решили полностью обновить. Конечно, будет конкурс. Но я знаю своих соперников и их возможности. Кроме того, я съезжу на деднек... Как только ты поправишься... Эскизы... гонорар...

Его голос стал то и дело почему-то пропадать. Так

бывало и раньше, когда Марии надоедали «откровения» жениха. Она подняла руку, закрыла ему рот.

— Я устала, Раф, уходи. Хочу спать.

Маленький Рафаэль смешался, умолк. Хотел что-то спросить, но не решился.

— Я приду завтра, — пообещал он, поднимаясь. — Тебе в самом деле надо сейчас побольше отдыхать.

Маленький Рафаэль — «смешное прозвище я ему придумала, не правда ли?» — попрощался и ушел.

Мария облегченно вздохнула и нырнула в сон, как в воду — неглубоко, чтобы только освежиться, и тут же проснулась.

Где-то в коридоре хлопнула форточка, зазвенело разбитое стекло. Марлевая занавеска на окне шевельнулась.

— Кто тут?! — спросила Мария.

Ей вдруг стало страшно. Страшно и жутко, как в детстве, когда маме случалось где-то задерживаться, и она оставалась одна в пустой квартире, и сумерки подкрадывались со всех сторон, и она, вместо того чтобы включить свет, пряталась под одеяло и старалась дышать тихо-тихо...

В палате никого не было. Горел ночник, за матовым стеклом двери угадывался пост дежурной сестры. Рядом. Рукой подать...

«Может, кто за окном притаился?» — подумала Мария и тут же отбросила эту мысль. Днем в окно заглядывали верхушки деревьев. Третий этаж, не ниже.

И все же в абсолютно пустой комнате кто-то был. Причем чужой. Настолько чужой, что Мария, сдерживаясь, чтобы не закричать от ужаса, подтянула простыню к самому подбородку и вновь шепнула:

— Кто тут? Я тебя слышу. Не прячься.

«Да!.. Это случилось!.. Это возможно, я докажу всему миру... Невозможное — возможно!

... Да!.. Да!.. Да!..»

Случай на косе потряс его.

Хотя почему случай?

Он столько дней наблюдал за ними. Точнее, только за женщиной — золотоволосым созданием природы, которое показалось таким родным, близким по духу, что его до сих пор мучит глубокая жалость: почему она человек, а не вихрь, не красавец торнадо, с которым они вместе летали бы по свету, и это счастье длилось бы вечность?!

У нее прекрасное лицо, совершенная фигура. Он знает это, потому что понимает красоту. Это, конечно, волнует и притягивает, но это внешнее, для людей.

Он же увидел в ней нечто другое.

Она порывистая и нежная. Насмешливая, подчас язвительная, и одновременно тонкая, ранимая, одетая в колющие слова только для того, чтобы защититься от нападок жестокого мира. По сути своей она очень одинокая...

Может, все это вовсе и не так, но он ее такой увидел.

Ее спутник? Он даже не разглядел его — не обращал внимания. Он тоже нечто внешнее, как одежда, очки от солнца, автомобиль...

Несколько дней он любовался ею, посылал братца-ветра, часть свою, прикоснуться к ее лицу, поиграть легкими волосами. Затем она поссорилась со своим спутником, тот уехал, и он не удержался. Налетел, заключил в объятия, унес с косы...

Как сладко ему было!

Его воображение рисовало земную женщину простыми и естественными для него понятиями, сравнивало ее с природой, ибо ничего более красивого и совершенного он не знал.

Отдельные понятия, иногда ключевые, иногда, может, и случайные, приходили, повинувшись всеобщему вихревому вращению, в движение и повторялись в его созна-

нии как эхо. Когда-то это мешало думать, позже привык и даже полюбил эти зеркальные отражения мысли, переблески, которые уравнивали скорость его жизни и скорость его мышления.

Нынче все в нем вращалось вокруг Марии, закручивалось в тугую звенящую пружину. Еще миг — и лопнет, взорвется с громовым раскатом: «Мария!»

«...Мария... Мария... Мария... Мария...

Легкие перья облаков — волосы. Нет в мире большего наслаждения, чем перебирать и гладить их.

Руки твои — два теплых течения.

...теплых... теплых... теплых...»

Сквозь огромную брешь в облаках, которую он пробил, взлетая, виднелась пестрая карта земли.

Смерч впервые поднялся так высоко.

Отец предостерегал его: «Бойся людей, сынок, никогда не прикасайся к ним. Мы настолько разные, что даже легкое твое прикосновение к человеку погубит его...»

Так говорил отец. На самом деле все произошло совсем иначе. Он прикоснулся к Марии... и погубил себя. Нет, вовсе не так, как когда-то погубил себя отец. Разве любовь может убить?! Отец сам во всем виноват: увлекся, забыл, что он ветер, а она из плоти... Разве одна неудача, нелепый, трагический случай могут перечеркнуть саму возможность общения двух разумных, но разных существ?! Он докажет, что это не так. Так не может быть, не должно! Он докажет это себе, отцу, хотя того уже сотни лет нет на свете, всему миру.

И все же сомнение жило в нем, задавало свои вопросы, которые приводили в смятение:

«Зачем тебе, Женщина, ветер?»

...зачем?.. зачем?.. зачем?..

«В ней сосредоточилась вся красота мира»,— говорил некогда отец.

Он тоже любил земную женщину — смуглую рыбаку с острова Сардиния. Он был могучим молодым торнадо родом из штата Айова. Как и когда занесло его в Средиземное море и как они познакомились, Смерч не знал. Помнил лишь рассказ отца о том, как он появился на свет.

Отец носил свою возлюбленную по всему миру — показывал ей дальние страны, разные чудеса и диковины. Он держал ее в своей воронке, как в колыбели, пел рыбацке песни, подслушанные в разных уголках Земли, рассказывал занятные истории. Его переполняли счастье и молодая немеренная сила. Их было так много, что отец отпочковал от себя часть облака и дал ему крупицу своего сознания. Так появился он, второй мыслящий Смерч... Вскоре после этого отец и рыбацка возвращались из очередного путешествия. Отец увлекся разговором и... уронил свою возлюбленную. Она упала в окрестностях Алжира и разбилась. Насмерть. Вот почему отец потом не уставал повторять, что нельзя соединить ветер и плоть, не может огонь любить воду...

«...огонь... огонь... огонь...

...ветер... ветер... ветер... ветер...

...может... может... может...»

Зачем тебе вся красота мира, Смерч? — спросил он сам себя. Собирай ее по свету, наслаждайся... Дело не в красоте... Дело даже не в продолжении рода разумных Смерчей, ибо роль женщины в этом возвышенном акте чисто символическая — при желании можно в любой момент отпочковать от облака самостоятельную частицу и поделиться с ней душой. Тебе хочется Невозможного! — вот ответ на все вопросы.

...ВОЗМОЖНОГО... ВОЗМОЖНОГО... ВОЗМОЖНОГО...

Природа дала тебе сознание. Оно совершенствуется и требует большего и большего. Общения, чувств, понимания, любви... Ты не хочешь быть абстрактным мыслящим воздухом. Тебе подавай Невозможное, и ты заплатишься за это, как все, кто слишком многого хотел. История людей полна такими примерами. Оставайся смерчем, Смерч, и не пытайся изменить законы природы.

...она... она... она...

...тоже... тоже... тоже...

...природа... природа... природа...

Рядом с телом-облаком Смерча в глубинах неба стили перламутровые облака. Они казались какими-то декоративными, неживыми, может, потому, что никуда не двигались. Еще выше сверкали серебристые перья недоступных, неизвестных Смерчу сородичей, за которыми ничего больше не было — оттуда, из фиолетовой тьмы, уже дышал стужей космос.

Смерч вдруг почувствовал, что тело в этом разреженном воздухе начинает таять. Его во все стороны растаскивала коварная пустота стратосферы.

«У отца не получилось, а у меня получится! — с дерзкой уверенностью подумал он. — Кто, кто или что может помешать мне найти Марию и рассказать ей, какая она прекрасная? Я должен открыться ей! Я найду ее! Сейчас же. Немедленно!»

Солнце уже катилось за окоем. Внизу, в розово-белой пене закатных облаков, виднелись далекие земля и море — в пожаре вечера, спокойные и умиротворенные.

Туда стремилась душа Смерча, и он не стал больше прислушиваться к предостережениям разума.

Он понесся к земле, чтобы, не откладывая ни на ми-

нута, послать к людям братца-ветра и разыскать Марию.

Шепот?

Откуда он в пустой палате?

— Дыхание твое — нежный запах дыни и молока... Песчаные отмели... Пушок на щеке персика... Руки твои — два теплых течения...

Мария привстала на кровати.

Все страхи, которые еще минуту назад загнали ее под простыню, заставили укрыться чуть ли не с головой, вдруг куда-то исчезли. Душа ее снова наполнилась предчувствием чего-то необыкновенного — недаром после пробуждения пела птица! Если это чудо — пусть! Когда-то ведь оно должно случиться?!

Она облизнула пересохшие от волнения губы:

— Кто здесь?

— Это я... Я унес тебя... Я не человек...

Горячие торопливые слова возникали из ничего, сталкивались друг с другом.

Мария молчала.

«Только что я просила чуда... Вот оно, рядом... Неужто я испугалась?»

Откинувшись на подушку, опустила до пояса простыню, чтобы дыхание ветра, проникающее в палату, остудило тело.

— Зачем ты напал на меня? — строго спросила она.

— Нет! Нет! Нет! — запульсировал в ответ горячий шепот. — Я хотел прикоснуться к тебе, показать тебе небо. Ты прекрасна! Твоя душа так похожа на мою...

— Я поняла! — воскликнула Мария и рассмеялась. — Ты огромный и глупый Смерч, который похитил на пляже бедную девушку и чуть не убил ее? Да?

Он ожидал всего, вплоть до истерики, до требования

показать ее психиатру, но такого... Этот смех... Неужто Мария так сразу поверила в него? Не удивилась, не испугалась? Это же прекрасно.

— Да, я огромный и глупый Смерч, который влюбился в земную женщину...

Он старался говорить как можно медленней, в ее стиле.

— Я так одинок, Мария. Конечно, мы очень разные. Я — ветер, ты — существо из плоти. Но мы разумные существа...

— Объясни мне все, — нетерпеливо прервала его Мария. — Я люблю сказки, но прежде всего я простая земная женщина. Объясни — кто ты? Неужто все смерчи — разумные существа? Не верю.

— Ты права, Мария. Я один такой... Был еще отец. Давно. Лет шестьсот назад... Есть другие, похожие... Как тебе сказать? Среди миллиардов проявлений неживой материи и стихий есть единицы, осознающие себя и мир. Я — один из них.

Мария сжалась, веря и не веря в этот оживший бред. И тем не менее... Жара у нее нет, она здорова и в своем уме. Ее в самом деле унес смерч. Он оказался разумным... Пока все понятно и приемлемо, если поверить в чудо. Но где тогда сам Смерч, черт побери? Что это за шепотки и хлопанье форточками?!

— Если ты смерч, то где ты? — устало спросила она. Вновь, по-видимому, от перенапряжения заболела голова.

— Возле косы. Там, где ты любишь бывать. Я послал к тебе свой голос — брата-ветра.

— Хорошо, — сказала Мария и улыбнулась. — Я рада нашему знакомству. Мне по душе всяческие бури, циклоны и торнадо. А сейчас уходи, братец-ветер. Мне все еще плохо. Носить на руках ты, может, и мастер, а вот на землю вернул меня не совсем удачно. Уходи.

— Где я теперь тебя увижу?

— На косе... Сюда больше не приходи — я завтра буду уже дома.

— И последнее, — попросил Смерч. — Не рассказывай обо мне людям.

— Почему? — удивилась Мария. Она даже глаза приоткрыла. — Тебе это как-то повредит?

— Мне? Ну что ты. Как можно навредить ветру? Я беспокоюсь о тебе. Тебя посчитают фантазеркой или хуже того — сумасшедшей.

— Всю жизнь мечтала, — непонятно ответила Мария.

Бассейн был маленький. Очевидно, его делали для красоты, потому что дно, которое обычно цементируют, тоже выложили разноцветным кафелем.

Мария нашла слив, открыла его. Пока завтракала, зеленая зацветшая вода сбежала. На дне осталась тина, немного песка и мусора.

Она в два счета выгребла все это, вымыла плитки тряпкой и до упора отвернула кран. Вскоре в бассейне заплескалась свежая, неправдоподобно голубая вода.

Затем Мария вернулась в дом, принесла оттуда деревянный шезлонг, книгу Айрис Мэрдок и полбутылки охлажденного сока.

С самого утра она надела купальник и, хозяйничая в саду, возле бассейна, с удовольствием ловила ласковые лучи еще нежаркого солнца, прикосновения мокрых от росы листьев деревьев. Теперь можно залечь в шезлонг и наконец по-настоящему отдохнуть.

Весь вчерашний день прошел в сутолоке и утомил ее. К одиннадцати она выписалась из больницы и попрощалась с Хомячком, который не преминул предложить ей свои «врачебные услуги» в любое время суток.

Затем поехала на такси на косу и забрала оттуда свою машину, которая тихо-мирно простояла там незапертой все три дня пребывания Марии в больнице. В городе накупила на неделю продуктов, чтобы лишний раз не шляться по ресторанам. Еще несколько часов ушло на Маленького Рафаэля. Попробуй спровадь этого болтуна, который то рассказывает о своих тренировочных полетах, то, вспомнив, что произошло с Марией, в сотый раз занудливо спрашивает, как она себя чувствует...

Весь вчерашний день Мария прожила как бы автоматически, не вникая в происходящее, в слова людей.

Она давно мечтала о чем-нибудь необыкновенном, что могло бы до основания разрушить ее монотонную унылую жизнь. И вот это чудо произошло. Нечто сказочное, фантастическое, небывалое. Другая на ее месте испугалась бы, не поверила ни Голосу, ни себе. Но она, Мария, привыкла верить себе. Если Смерч обладает разумом, если он пришел даже в больничную палату, то недаром, недаром пела в душе птица. Было! На косе все было именно так, как ей показалось. Обжигающие ладони, ласки... Впрочем, ладоней у него нет. Ничего нет у ее возлюбленного. Он — ветер! И все-таки, несмотря ни на что, это настоящий мужчина, рыцарь и поэт. Как он ее называл? «Дыхание — запах дыни и молока... Пушок на щеке персика... Руки твои — два теплых течения...» И все это — про нее, железную лошадку, которая смело и уверенно скачет по жизни?

Если каждая женщина в мире в какой-то период своей жизни тихо мечтает или ищет во всех постелях (это уже технология) некое чувство, которое иронично называют «большим и чистым», то она, Мария, не исключение. Она согласна на все. Пусть это будет Ветер, Тень, Дьявол, Смерч, Монстр — лишь бы в нем было чуть больше жизни, чем в этих разжиревших, всего боящихся, только говорящих и ничего не делающих мужчинах.

Так думала Мария вчера, а сегодня, за одну ночь, душа ее отстоялась, стала прозрачной и умиротворенной: да здравствует настоящий Мужчина Смерч.

Негромко стукнула калитка.

«Кто это? — насторожилась Мария. — Рафаэлю я запретила приезжать — пока не позову. Торнадо с душой поэта, который, однако, срывает с бедной девушки последний купальник?.. Ему я тоже запретила. Он ждет меня на косе...»

Она встала, чтобы набросить халат, но непрошенный гость уже шел по садовой дорожке и на ходу фотографировал ее.

Мария хотела возмутиться. Однако радостная эйфория, переполнявшая ее, толкнула на совершенно противоположный и неожиданный поступок. Позируя незнакомому фотографу, она подняла руки, будто собралась взлететь, резко откинула голову — мягкие волосы на миг поднялись над ее улыбающимся лицом.

— Великолепно! — отрывисто бросил тот, непрерывно щелкая фотоаппаратом. — Это как раз то, что мне нужно.

Гость представился репортером местной курортной газеты. Был он невысок, худ, точнее — какой-то изможденный. Южное солнце и работа на воздухе сделали его кожу похожей на коричневый пергамент — ткну пальцем и разорвется на куски.

«Ему бы мумию изображать, — подумала Мария. — Или святые мощи. Честное слово, больше заработал бы, чем в своей газетке».

Гость присел на край бассейна, открыл блокнот.

— Как вы себя чувствуете после нападения торнадо? — спросил он.

— Лучше, чем прежде.

— Я серьезно, — перебил ее репортер.

— Я тоже, — сказала Мария и улыбнулась. — Легкий

шок, легкие ушибы. Доктор заявил, что я родилась в рубашке.

— Вы помните свой полет?

— Конечно! — подтвердила Мария, хотя ровным счетом ничего не помнила. — Это было незабываемо. Я давно мечтала о настоящем приключении... Смерч, кстати, был очень галантен.

— Разумеется, — пробормотал репортер, записывая ее слова. — Раз он не сломал вам шею...

Мария засмеялась:

— Сообщите вашим читателям, что я давно хотела повторить подвиг Пёкоса Билла, который некогда прокатился верхом на урагане.

Репортер оторвался от блокнота.

— Кто такой Пёкос Билл?

— Боже мой! — воскликнула Мария. — Неужто вы не знаете самого дикого ковбоя Дикого Запада, который ездил на белом жеребце по кличке Покровитель вдов? Тогда вы не знакомы и с Пузаном Пйкенсом, которого не было видно, когда он становился боком, — такой худой он был, и с Гарри Поджаркой, который на огромной сковороде выпекал сразу семнадцать блинов. Не знаете вы и Поля Баньяна, который как-то сварил целое озеро горохового супа, а уж о том, что Сэм Пэтч, нырнув в Ниагарский водопад, вынырнул на другом конце земли и слухом не слыхивали?!

— Понятия не имею.

Репортер впервые улыбнулся и сразу как бы ожил. По крайней мере, появилось сходство с живым человеком.

— Ну уж о Пёкосе Билле я вам, так и быть, расскажу.

Мария села в шезлонг, дурачась, нараспев начала:

— Как-то ковбои побились об заклад. Знаем, мол, что ты, Пёкос Билл, самый знаменитый среди нас, что ты изобрел лассо и выучил язык койотов. Знаем, что ты

ездил на великане-гризли. Но вот на урагане тебе, Пёкос Билл, не прокатиться, сбросит тебя торнадо. Билл принял пари. Приловчился ковбой и накинул лассо на черный смерч, который скакал и резвился как необъезженный мустанг. «На Пороховую Речку! — закричал Билл и пришпорил ураган. — А ну в галоп!»

Со стоном и воем смерч пролетел через штаты Нью-Мексико, Аризона, Калифорния и вернулся обратно. Что только он не выделял, чтобы сбросить седока, но Пёкос Билл крепко сидел в седле. Наконец ураган сдался и вылился весь дождем...

Репортер торопливо записывал.

— Занятно, — заключил он. — Это похоже на американский фольклор. Вы не из Штатов?

— Зачем вам это? — в свою очередь, спросила Мария. — У меня вполне космическое имя и мировоззрение. Если хотите знать, я вообще не признаю границ и всей этой дележки. Не хочу называть себя полностью еще и потому, что у нас не принято, чтобы молоденькие учительницы летали верхом на торнадо.

— Что вы преподаете? — оживился репортер.

— Математику и физику.

— Вы любите детей?

— Терпеть не могу. — Мария сходила в дом, принесла еще один стакан и закончила: — Когда появятся свои, может, и полюблю... Пейте сок. Он очень славный, из холодильника.

— Ваше сокровенное желание?

— О, их у меня много, — засмеялась Мария. — И все сокровенные. Во-первых, хочу удачно выйти замуж. Во-вторых, бросить к чертям школу и всех этих великовозрастных балбесов, которые вместо того, чтобы изучать функции и законы физики, норовят под любым предлогом заглянуть тебе под юбку. В-третьих, мне очень хочется поднакопить денежек и купить на взморье дом. Пусть не такой шикарный, как этот, что я сняла на летние каникулы, но свой. Понимаете — свой.

— Понимаю,— кивнул репортер.— Однако давайте вернемся к тому, что произошло с вами несколько дней назад. Неужто вам в самом деле понравилось ваше... приключение?

Мария пожала плечами, на мгновение задумалась.

— Я нисколько не рисуюсь,— ответила она.— Мы боимся стихий и воюем с ними, вместо того, чтобы попробовать подружиться. Я уверена, что природа тоже обладает разумом. Может, не таким конкретным, как у нас. Может, не всегда и не везде. Но что-то, согласитесь, во всем этом есть... Я благодарна смерчу, который без всяких крыльев и моторов поднял меня в небо. Более того. Я хочу приручить этот смерч.

Репортер, который в это время решил попробовать сок, поперхнулся, закашлялся.

— Вы в своем уме? — спросил удивленно он.

— А как лучше для вашего интервью? — засмеялась Мария.

«Напрасно я так разоткровенничалась,— с легкой досадой подумала она.— Он такое нарисует в своей газетке, что за мной станут толпами ходить любопытные и показывать пальцем — вот, мол, она. Впрочем, плывать. Пусть рисует...»

— Так и запишите,— сказала Мария: — «Как специалист точных наук, она предполагает наличие у природы какой-то разновидности разума и потому собирается приручить смерч, на котором ей довелось прокатиться. Это трудно, но возможно».

— Превосходно! — воскликнул репортер, закрывая блокнот.— По крайней мере, это интересней, чем считать синяки и описывать то, что видели тысячи других очевидцев.

Погода над Тирренским морем была хорошая, и Смерч издали увидел громаду Сицилии и обошел ее стороной, чтобы лишний раз не беспокоить людей.

«Стромболи будет сердиться,—беспечно подумал он.—Старик считает меня ветреным и несерьезным. Что ж, ветер и должен быть ветреным. Стромболи неподвижен, он знает только внутреннее движение. Зато у него пылкое воображение. Если я расскажу ему о Марии...»

На далеком горизонте возник дым.

«Не спит старик, скушает. Вот и славно».

Он давно знал этот остров-вулкан Средиземноморья, напоминавший голову диковинного животного, высунувшегося из воды и сердито фыркающего через каждые десять-двадцать минут.

Стромболи с его почти километровым конусом — на первый взгляд угрюмый, с плоской закопченной вершиной и черными засыпанными пеплом склонами, с огромным пятижерловым кратером, разрушенным на северо-западе,—многие тысячи лет прятал в своем магматическом очаге живой и острый разум.

Себе подобных Смерч различал по электромагнитной ауре, которая, как правило, всегда клубилась вокруг работающего сознания. Общались они мысленно, только в пределах аур, при их соприкосновении, поэтому до появления Смерча и Стромболи и Теплое Течение, и Байкал с Айсбергом считали, что они одни в своем роде и обречены на вечное одиночество.

Контакт сознаний пришел, как обычно, после мягкого упругого толчка, от которого все естество Смерча на миг как бы замерло, насторожилось.

— Бродяга, ты здесь? Наконец-то!

Стромболи на радостях выбросил с полсотни вулканических бомб и струю горячего газа.

— Ты забываешь друзей, Бродяга. Наведываешься раз в сто лет.

— Не ворчи, старая печка. Последний раз я прилетал к тебе в гости весной. Еще лава не остыла, которой ты тогда плевался.

— У меня свой календарь. И я утверждаю: тебя не было тысячу лет.

Вулкан замолчал. Смерча пронзило острое чувство тоски, исходившее от приятеля.

— Как я тебе завидую, Бродяга,— отозвался наконец Стромболи.— Ты везде бываешь, все видишь. А тут... Море, корабли, птицы. Вот и все. Еще горстка людей, которых я не понимаю. Как по мне, так муравьи более гармоничные создания, чем эти беспокойные и бестолковые люди.

— Зато тебе никто не мешает думать.

— К чему все это? Жизнь без общения, без деятельности — бессмысленна,— возразил Стромболи.— Ты представь на мгновение, каково мне — всегда все в себе, в себе... Все повторяется, идет по кругу. Я проклинаю тот миг, когда узоры огня сложились во мне так, что осознали самое себя.

— Еще бы...— грустно пошутил Смерч.— С твоим итальянским темпераментом — и оставаться неподвижным...

— Ум приводит за собою чувства. Это плохо. Мы все погибнем от мелких страстей, если не научимся управлять собой. Если не обратимся к чистому разуму...

Эта мысль перекликалась с тем, чем жил теперь Смерч, что привело его к другу — поделиться, немедленно поделиться своей радостью! Она и подкупала его, и пугала. Неужто все так безнадежно? И разве все человеческие страсти — мелкие?

— Что ты знаешь о любви, старина? — спросил он у Стромболи.

— Я так и думал! Вместо того чтобы рассказать, сколько крыш сорвал, кораблей потопил, он пристаёт к старому повелителю земли и огня с глупыми вопросами. Тебе захотелось размножиться — отпочкуй от себя маленький смерч, и дело с концом.

— Я серьезно спрашиваю.

— Любовь — это выдумка людей. Такова их биологическая природа.

— Они называют это чувство духовным. Получается, что мы тоже... Например, я люблю тебя, хотя ты — старая ворчливая печка. К тому же прогоревшая и вонючая.

— Мы одиноки в этом мире, поэтому и любим друг друга. Но не станешь же ты утверждать, что тебе нравится какое-нибудь безмозглое красивое облако.

— Нет. Я полюбил человека. Женщину.

Стромболи от неожиданности поперхнулся огнем и дымом. Из жерла его выплеснулось озерцо расплавленного базальта.

— И это после всего того, что случилось с твоим отцом?

— Да. Тебе надоела неподвижность, а мне — вечное движение. Теперь у меня есть существо, к которому я мысленно привязан. Мы даже немного похожи. Она такая порывистая, свободная...

— Ты плохо кончишь, Бродяга. Вы слишком разные. Ты забываешь, что ты стихия. Ты веками крутишься среди людей и невольно начинаешь уподобляться им. Ничего доброго из этого не получится... — Вулкан помолчал, затем добавил: — Возле меня раньше жило несколько тысяч человек. Теперь осталось триста. Остальных я разогнал своим ворчанием и нисколько об этом не жалею. Их бессмысленная суeta раздражает меня. Что это за разум, который горит в лучшем случае полста лет? Искра, а не огонь.

— Ты сам говорил: мы разные. И все-таки именно они — хозяева планеты. Они тем и прекрасны, что за такую крохотную жизнь так много успевают. Я — Смерч, но они живут быстрее меня.

— Ты прилетел за советом?

— Нет. Поделиться радостью.

Они на некоторое время замолчали, и никому из людей, опасливо поглядывающих на огромную тучу, кото-

рую вдруг пригнало к их острову, и в голову не могло прийти, что сейчас о них говорит сама природа.

— У меня неплохо развито воображение, — наконец сказал Стромболи. Вулкан старался не проявлять свои эмоции, но Смерч чувствовал, что он волнуется. — Когда сидишь в горе, как джинн в бутылке, то тебе только и остается — воображать. Так вот. Я не знаю, что такое любовь, однако как-то пытался представить себе эту штуковину...

— Ты? — удивился Смерч.

— Нет в мире таких вещей, о которых бы я не думал. Кроме того, давным-давно случилась смешная история... Я тогда еще берег свои склоны — чего только не росло на них. И люди, хотя и побаивались меня, не обходили эти леса — охотились, собирали дикие фрукты. Как-то возле старого русла, по которому обычно шел лавовый поток, устроилась парочка влюбленных. Именно в тот вечер я ожидал извержения — давление магмы достигло критического предела. Эти голубки ворковали всю ночь напролет, а я, старый дурень, слушал их любовные бредни и из последних сил сдерживал в себе магму — они бы сгорели живьем, начини я избавляться от излишков базальтового расплава. Утром я не выдержал: слегка рыкнул, потряхнул землю. И тут мужчина, который всю ночь клялся женщине в вечной любви, бросил ее на произвол судьбы и удрал. Он так быстро бежал, что чуть не разбился на горной тропе...

— Ты говорил, что пробовал представить себе и это чувство, — перебил Стромболи Смерч.

— Пробовал, — ответил вулкан. — Это все несерьезно. Чувства требуют проявлений. Ну а что я могу? Забросить все свои «бомбы» на Луну? Отлить из магмы корону? Бред. Да и кого, кого мне любить? Разве что воду, которая меня окружает? Я пробовал. Она, увы, шипит и испаряется.

— И все же? Что бы ты сделал, если бы полюбил?

— Не знаю.— Стромболи задумался.— Наверно, взорвался бы от радости.

— Какой ты большой, старый и глупый,— ласково сказал Смерч.— Мне пора улетать. Ночью воздух тяжелее — не хочется тащиться до утра.

Они наскоро обменялись информацией, как делали много раз раньше, и Смерч попрощался с приятелем.

— Береги себя,— попросил Стромболи, когда их ауры начали разъединяться.— Нас мало. Мы очень одиноки и нужны друг другу. Нельзя, чтобы в мире остались одни слепые и неуправляемые стихии...

Смерч уносился на юго-запад.

Вскоре его догнало раскатистое погромыхивание.

Над кратером Стромболи стоял столб дыма, сверкали языки пламени. Старик то ли расстроился, то ли салютовал таким образом безумной затее своего ветреного друга.

Они допили сок, и репортер ушел.

Не успела Мария прочесть несколько страниц, как появился Маленький Рафаэль.

— Извини, если помешал тебе,— сказал он, заметив возле шезлонга книгу и пустую бутылку.— У тебя нет телефона, а я беспокоюсь... Как ты себя чувствуешь?

— Узнаешь завтра из местной курортной газеты.— Мария вновь села в шезлонг и решила до обеда больше не подниматься ни под каким предлогом.— Мне два часа морочил голову один дохленький корреспондент. Только что ушел.

— Представляю, что ты ему наболтала,— обеспокоенно заметил Маленький Рафаэль.

— Да уж! — улыбнулась Мария.— Интервью должно получиться на славу. Я ему даже название подсказала: «Верхом на урагане, или Соперница Пёкоса Билла». Ну как, классно?

— Ты неисправимая фантазерка...

Маленький Рафаэль снял соломенное сомбреро и снова стал чем-то похож на директора школы, в которой работала Мария. Такие же ранние залысины, стремление держаться и говорить солидно, что при небольшом росте всегда выглядит несколько комично.

«Господи,— вздохнула Мария.— Это же надо! Весь год собирать деньги на «шикарный отпуск» и в результате вновь оказаться под надзором...»

— Раф,— обратилась она.— Скажи мне честно: тебя в самом деле пригласил потренироваться местный авiakлуб или ты притащился сюда из-за меня?

Маленький Рафаэль опять надел сомбреро, сделал обиженное лицо.

— Ты плохо обращаешься с друзьями,— заявил он.— Ты не любишь меня. Но ведь можно просто дружить, уважать друг друга.

Мария засмеялась.

— Насчет дружбы ты с моими учениками поговори, когда вернемся в город. Они у меня детки грамотные. Даже чересчур. Что касается любви... Репортер тоже спрашивал, как я отношусь к этому великому чувству.

— И что ты ему ответила?

— Рассказала анекдот из французской жизни. Знаешь, когда внука допытывается у бабушки, что такое любовь. Бабушка долго отмалчивается, затем вздыхает и говорит: «Не знаю. Это все русские придумали... Чтоб не платить».

Маленький Рафаэль засмеялся, присел на край бассейна — точно туда, где перед этим сидел репортер.

— Я собираюсь заехать в «Пиццерию»,— сказал он.— Пообедаешь со мной?

— Нет. Я устала и хочу наконец отдохнуть,— ответила Мария.— И вообще: оставьте меня в покое. Смерч меня вдоль берега таскает, ты — по ресторанам. Надоело.

— А что ты делаешь завтра?

— Не знаю,— честно сказала Мария.— Если я по тебе соскучусь, то позвоню вечером в гостиницу.

— Хорошо,— обрадовался Маленький Рафаэль. Если женщина тебе хоть что-нибудь обещает, это уже половина успеха.

Он уехал, и Мария вновь взяла в руки книгу. Посидела над ней и... отложила. Чужая жизнь не шла на душу.

Чем бы она ни занималась, память то и дело возвращала ее в палату, к разговору со Смерчем. А что, если все это ей показалось? Мало ли какие сдвиги бывают у людей после шока? Да нет... У нее был ясный разум, она хорошо себя чувствовала. Да и весь разговор — разве такое придумаешь?

И все же внутреннее беспокойство, какое-то томление не оставляли ее.

«Смерч... Он сказал... Нет, это она ему сказала — на косе. Увидимся, мол, на косе. Он еще просил не рассказывать о нем людям... Черти принесли этого корреспондента. Впрочем, ничего такого она ему не выболтала. Ее намерение «приручить» Смерч все воспримут как метафору, выходку глупой девчонки. Плевать! Она всегда была такой, какая есть, и не станет ни под кого подстраиваться!»

Мария отложила книгу, набросила халат.

Через несколько минут ее «козявка» уже мчалась по дороге, идущей вдоль моря.

Вот и съезд на косу.

Метров через триста асфальт оборвался. Здесь же кончались и деревья — дальше только несколько низкорослых маслин, невысокая насыпь будущей дороги, по которой они с Маленьким Рафаэлем забирались чуть ли не в конец косы.

Мария остановила машину на том же месте, где ставила ее всегда.

Мелкий, раскаленный песок, сверкающая в лучах

полуденного солнца гладь моря. И, как всегда, ни души.

Песок жег ступни, и Мария зашла по щиколотки в воду.

Она оглядела все небо. В нем не было даже намека на облако.

«Вот и верь после этого мужчинам!» — весело подумала Мария и поплыла, стараясь не замочить подколотые волосы.

На несколько минут она забыла обо всем на свете. Ласковая зеленоватая вода, сквозь которую видно песчаное дно, жаркое солнце над головой, и покой, покой, покой. Что еще нужно для счастья?!

И тут с моря дохнуло ветром, в лицо ударила внезапная волна.

Мария подняла взгляд и вскрикнула от страха.

За какой-то миг она увидела все в мельчайших деталях — так бывает, когда окружающий мир озаряет ночью близкая молния.

С моря шло грозное высокое облако. Оно было иссиня-черное, зловещее. Над ним то и дело вспыхивал и перекатывался багровый огонь, без звука, без грома, а внизу, будто огромный черный удав, приплясывала от нетерпения воронка смерча. В том месте, где она соприкасалась с морем, метров на двести поднимался столб водяных брызг. Смерч быстро приближался к косе — уже стал слышен его рев и нарастающий грохот. Шквалы ветра стегали невесть откуда появившиеся волны.

Мария, задыхаясь и захлебываясь, изо всех сил работала руками и ногами. К берегу! Скорее к берегу!

Она буквально выползла на песок, не смея оглянуться, готовая к тому, что ее вот-вот, как в прошлый раз, схватят обжигающие ладони, куда-то поволокут, бросят.

Но рев и грохот вместо того, чтобы нарастать, стихали, ветер уже не так свирепо толкал в спину.

Мария вскочила, глянула на море.

Смерч уходил.

Только теперь она заметила, что на небе по-прежнему сияет солнце, на глазах тает внезапная свинцовость волн.

— Ты испугалась? — спросил знакомый голос, проходящий-отовсюду и из ничего. Он был горячим и торопливым, как и в больнице, только более громким. — Тебе неприятен мой вид?

Мария покачала головой, но ответила не сразу.

— Нет, не то слово. Твой вид... страшен. Ты напугал меня.

— Я понял это, почувствовал. Поэтому я ушел от берега, а к тебе снова послал только часть себя.

Мария присела на песок. Она все еще не могла отдышаться.

— Как тебя зовут? — спросила первое, что пришло на ум.

— Собственного имени у меня нет. А вообще у меня много имен: Торнадо, Смерч. В Европе еще называют Тромбом. В Австралии — Вилли-вилли. В пустынях — Дьявол пустыни...

— Ты знаком с другими людьми?

— Знаю многих, наблюдаю за их жизнью. Наблюдал раньше — сотни лет назад. Но еще никогда ни с кем не заговаривал, никому не открывался. Ты — первая.

— Не понимаю, — задумчиво сказала Мария. — Ты — стихия, ветер, совсем непохожий на человека. Почему же ты разговариваешь на человеческом языке, пользуешься нашими понятиями и представлениями?

— Ничего странного. Ваша цивилизация существует очень давно, вы хозяева планеты. А проявления сознания на уровне неживой природы астрономически редки, разобщены и по сравнению с людьми по возрасту почти что дети. Правда, есть один Вулкан. Его зовут Стром-

боли. Он очень старый. Это тоже равносильно детству... Конечно же, мы пользуемся всем человеческим — языком, понятиями, логикой, информацией. Ведь все это нас окружает. Для нас природа — это вы... В чем-то мы, конечно, другие, не похожи на вас...

— Говори, говори! — воскликнула Мария. — Это очень интересно. Хотя я всего-навсего школьный преподаватель, но мне пока все ясно. Говори! Как ты думаешь, вы — игра случая или нечто другое?

— Не знаю, — честно ответил Смерч. Он сделал паузу, добавил: — Иногда мне кажется, что мы — следующее звено осознания материей самой себя. Новый способ борьбы с энтропией, что ли. Тем более что вы... — Смерч снова сделал паузу. — Ты только не обижайся, но человек теперь чаще разрушает мировую гармонию, взаимосвязь явлений и вещей, чем создает... Наверное, у природы тоже есть инстинкт самосохранения...

— Простой раз ты упомянул, что вас на Земле несколько. И сегодня говорил. Какой-то мыслящий вулкан, мол, есть. А кто еще?

— Я мало кого знаю, хотя сотни раз облетал всю планету. Есть еще Теплое Течение, озеро Байкал, Айсберг... Был еще мой отец. Давно. Он тоже любил земную женщину.

— Ой как интересно! Расскажи, — потребовала Мария.

Смерч рассказал. Но о гибели прекрасной рыбки умолчал. Не то что утаил — не смог. Зачем лишний раз пугать Марию.

— Ты сегодня одна? — спросил он потом об очевидном. — Это хорошо. Я не знаю твоего спутника, но его аура показывает, что он глуповат. После контакта со мной он потащил бы тебя и себя к психиатру.

— Это мой жених, — сказала Мария и засмеялась. — По крайней мере он так считает. Немного художник, немного спортсмен. Не знаю, как он летает, но рисует

Маленький Рафаэль неважно... Мне жаль его — таким в нашем мире трудно.

— Вам всем трудно, — согласился Смерч. — Каждый день добывать еду и питье, думать о крове над головой... Ужасно! Кстати, ты живешь здесь, у моря?

— Если бы... Я живу в большущем городе, где людей, как песка на косе. Через две недели кончатся каникулы и я уеду.

— Это плохо, — вздохнул Смерч. — Конечно, я приду к тебе и в городе: прилечу облаком, pošлю братца-ветра... Но здесь мне лучше — я люблю море и простор.

— Мне здесь тоже лучше, — грустно улыбнулась Мария. — Когда-нибудь, если у меня будут деньги, я куплю себе у моря дом.

— Он у тебя будет сейчас! — воскликнул Смерч. — Даже не дом — целый замок. Смотри.

Через несколько минут в безбрежной синеве неба появилась стая белых, сверкающих в лучах солнца облаков.

Мария с восторгом наблюдала, как, послушные воле Смерча, ветры громоздят их друг на друга, отметаю лишнее, как в небе одна за другой вырастают сахарно-белые башни, появляются стены с бойницами, а затем и прекрасный дом, точнее — сказочный дворец.

— Зачем я тебе? — спросила вдруг Мария, и со стороны ее вопрос, обращенный в никуда, в пространство, любому человеку показался бы более чем странным.

Смерч перестал строить свой замок, но и отвечать не торопился.

— Я не знаю, что тебе сказать, — наконец выдохнул он. — Ты прекрасна и совершенна. Когда я ощущаю тебя, я как бы сразу ощущаю всю красоту и целесообразность мира... Потом я очень одинок... Но ты снова спросишь: почему среди миллионов людей, миллионов женщин я выбрал именно тебя? Не знаю. А разве вы, люди, знаете точный ответ, почему один человек становится как бы половинкой другого и когда они врозь —

им больно? Вы или объясняете это инстинктом продолжения рода, или называете чудо малозначащим словом «любовь». Не так ли?

— Да, все это в основном красивые слова.— Мария повела плечами, будто ей вдруг стало холодно.— Мой коллега, преподаватель биологии, любит повторять, что по жизни надо ходить стаей. Семья — маленькая стая.

— У нас с тобой не может быть семьи. Однако я не вижу тебя — и мне больно,— возразил Смерч.

— Это пройдет,— беспечно заявила Мария, разглядывая воздушный замок. Он висел над морем — высоко, в небесах — и исходил ярким белым сиянием, от которого в глазах появлялась резь, набегали слезы.

Мария вздохнула:

— Это прекрасно! Жаль только, что я не буду жить в твоём замке.

А про себя подумала:

«Жарко! Будь на его месте Раф, послала бы за кока-колой или холодным шампанским...»

Она снова глянула в небо.

На месте прекрасного замка остались одни «развалины». Свирепый ветер высоты перемешивал их, гнал в сторону моря. Остатки замка клубились, таяли.

— Ты обиделся? — удивилась Мария.

— Нет, что ты. Я понимаю: люди не могут жить одними мечтами и грезами. Вам сначала нужно материальное, а уж потом — возвышенное. Я понимаю это, но мне становится от этого почему-то грустно.

— Ты в самом деле ребенок,— вздохнула Мария. Она легла на спину, чтобы загорел и живот, прикрыла лицо панамой.— Ты огромный и глупый Смерч, и я тебя очень люблю. Иногда мне кажется, что ты — во мне, и я разговариваю с собственным ребенком...

Она снова вздохнула — на этот раз капризно.

— Я сгорю сейчас от солнца! Придумай что-нибудь... Дуй на меня, студи. Или повесь в небе пару тучек — вместо шторы...

В гости к Байкалу первый раз он летал вместе с отцом.

Летели они очень долго. Сначала над Красным морем, затем почти через весь Индийский океан, вдоль берегов Китая, через Японское море. В России проводником сначала была река Амур. Потом отец вел маленького Смерча по одному ему известным приметам.

Издали, с высоты Байкал показался огромным прищуренным глазом в окружении гор. Будто сама планета приглядывалась: что это за два странных облака, куда они летят?

Когда приблизились, Смерч увидел, что в озеро впадают сотни рек. Заметными стали и родинки островов.

— Байкал — скупец, — шутливо объяснил отец. — Со всей округи воду собрал. А от себя только Ангару отпустил.

У Байкала была огромная, очень живая аура, которая накрывала берега озера на десятки километров.

Он не просто откликнулся на их вызов, а еще до контакта аур почувствовал приближение друзей, бросил им навстречу вспышку сознания...

— Ты чересчур подражаешь людям, — ворчливо упрекнул отца Байкал. — Зачем ты тратишь себя? Зачем дронишь сознание? Это для людей дети — продолжение рода, а точнее — способ сохранения и передачи информации. Мы же с тобой практически вечные. Нам надо, наоборот, укрупнять сознание, по возможности объединяться, сливаясь в нечто единое.

— Не хочу я с тобою сливаться, — возразил насмешливо отец. — Ты загнал свое сознание на дно и бережешь его, говоря языком людей, как зеницу ока. А я свободен. Впрочем, нас теперь двое. И ты будешь любить часть мою, как и меня. Учти, если мы перестанем тебя проводить, ты высохнешь от одиночества и скуки.

— Может, ты и прав, — вздохнул Байкал. — Мы в са-

мом деле пока выродки, исключения... Все эти объединения сознаний одиночество мое придумало. Никто из нас не знает замыслов матушки-природы. Хочет ли она, чтоб мы стали правилом? Нужно ли ей это?

— Вот! Ты уже стал сомневаться. Это хорошо.

— И все равно — дробить себя нельзя. Разве могу я дать частицу своего разума Ангаре? Нет. Ее жизнь чересчур тесно связана с людьми. Мне тоже несладко приходится от этого соседства...

Они с отцом опустились ниже, поплыли по направлению к Ольхону — самому большому из островов.

— Чего ты так ополчился на детей? — спросил отец.

— От них только боль. Они неумелые, их жаль, а помочь я ничем не мог... — хмуро ответил Байкал. — Вчера во мне утонул мальчик. Очень славный был мальчик.

Они тогда долго гостили у берегов озера-моря.

Смерч запомнил: о чем бы ни говорили отец и Байкал, разговор всегда сворачивал на одно — что же они собой представляют, разумные явления неживой природы, какова их судьба и предназначение? Особенно поразило его жестокое и ясное утверждение Байкала: «Наша задача — самосохранение. Не ради себя — ради жизни на планете. Мы должны быть эгоистами и любить только себя. Такова наша сверхзадача, видовая программа. Мы должны противостоять людям ради их собственного выживания. От активного, но слепо действующего разума мир может уберечь только другой разум. Мы противостоим друг другу...»

Смерч вспомнил и вечного работягу — Теплое Течение.

Оно не сильно в рассуждениях, но оберегает даже мальков. Был еще случай, когда течения и ветер занесли Айсберг в воды Теплого Течения. Они узнали друг друга по ауре, обрадовались, но, как ни старалось течение обойти собрата, теплая вода подтачивала, съедала основание ледяной горы... Если бы он случайно не

наведался в те широты и не отогнал Айсберг в родные воды, случилось бы непоправимое...

Айсберг тоже считает, что их удел — самосохранение во имя жизни на Земле. Все это, конечно, правильно, но скучно. Жить, чтобы жить. И все? Ради «жизни на Земле», «во имя человечества»? Все это красиво и... абстрактно. Лично ему гораздо интересней жить ради какого-нибудь стоящего дела. Например, все прошлое лето он гонял в Саудовскую Аравию стада дождевых туч, потому что там третий год подряд свирепствовала засуха. Вот это конкретно, это можно вспомнить и объяснить, потому что в действии этом есть Смысл. Он-то и отличает, должен отличать, его и его друзей от глупого ветра, мертвых гор, бездумных озер и слепых течений.

«...Может, Мария уже на косе?»

Смерч повернул на юг.

Море под ним еще с ночи разгулялось и катило к далекому берегу валы волн.

Мысль о Марии отозвалась в сознании музыкой.

Смерч любил музыку. Давно, еще с детства, когда она звучала только в гостиных и театрах. С появлением радио и телевидения музыкой наполнилось все земное пространство. Смерч частенько целыми днями слушал то, что приносили ему со всех уголков мира электромагнитные волны. Понравившиеся произведения и мелодии он запоминал, повторял потом для себя, легко, имитируя звучание отдельных инструментов и целых оркестров.

Сейчас, пробираясь между несущимися на северо-запад караванами облаков, он воскрешал в памяти мелодии Скрябина и Чайковского, но выбрал почему-то Шопена.

Между туч прозвучали первые серебряные аккорды любимого ноктюрна. Сначала негромко, но звуки фортепиано пропадали в шуме ветра и волн, кроме того, ему хотелось, чтобы эту прекрасную музыку услышала

и Мария, если она на косях, и Смерч отдал звукам часть себя — тысячекратно усилил их, дал им ураганную мощь и страсть, а уж затем бросил на землю.

Так он проиграл несколько ноктюрнов, перешел на фантазию экспромт до-диез минор и тут с радостью заметил на косях знакомый старенький автомобиль.

Солнечный луч пощекотал лицо, и Мария проснулась.

«Как хорошо быть молодой и красивой, — подумала она, потягиваясь под простыней. — И когда тебя любят... Причем кто — самый настоящий торнадо!»

Мария глянула через раскрытое окно в сад. Там сияла зеленую вязь листьев, среди которых созревали персики. Благодать! Надо будет сказать Смерчу, чтобы он не вздумал заявиться сюда — еще что сломает. Он ведь такой огромный...

Она умылась, поджарила себе ветчину и гренки, сварила крепкий черный кофе. Пока возилась по хозяйству, напевала:

Он приходил и распахивал двери,

Он говорил на чужом языке...

Откуда взялись эти две строчки — то ли вспомнились, то ли только что сочинились? — Мария не знала, но охотно повторяла их, каждый раз находя в нехитрых словах какой-нибудь новый смысл.

Пока завтракала, солнце спряталось за тучи, про шумел и пропал короткий дождь.

Мария потянулась к книге об ураганах и смерчах, которую купила вчера вечером в городе — специально ездила. Пробежала глазами содержание: типы смерчей и их строение, атмосферные явления, распространение и пути, вертикальные вихри, транспортирование, разрушения...

Открыла последнюю главу, стала читать:

«...12 апреля 1927 года смерч за полторы минуты

почти полностью разрушил городок Рок-Спрингс. Неповрежденными остались лишь шесть домов. Из 1200 жителей 72 было убито и 240 ранено.

...поднял железный подвесной мост через реку Большую Голубую у города Ирвинга...

...смерч Трех Штатов. Он прошел 18 марта 1925 года по штатам Миссури, Иллинойс и Индиана... Воронка была расплывчатой... затем она скрылась в черном облаке, сметавшем все на своем пути... прошел 350 километров... Общее число погибших во время смерча 695, тяжелораненых 2027 человек, убытки 40 миллионов долларов...

...В Бангладеш 1 апреля 1977 года в сильном смерче погибло 500 человек и 6000 были ранены...»

Мария отложила книгу.

Ей тотчас же представилась черная воронка Смерча, с грохотом и воем приближавшегося к ней, вспомнился внезапный неодолимый страх, который погнал ее тогда к берегу.

«А ведь все это могло плохо кончиться,— подумала Мария.— Если бы Смерч не был разумным и уронил меня. Тогда, первый раз, когда подхватил на косе... Пришлось бы Маленькому Рафаэлю раскошелиться на похороны».

Она зябко повела плечами.

«Надо все-таки съездить. Обещала...» — подумала с неохотой.

Погода явно портилась. Мария, собираясь на косу, надела брюки, прихватила с собой куртку.

Море, как она и предполагала, штормило.

Мария вела машину медленно, поглядывая на желто-грязную разболтанную воду, на то, как вылизывают берег водяные валы, как уходит в песок пена.

«Скоро осень — начинает штормить. Осенью на косе делать нечего. Она узкая. Если большая волна, то, наоборот, и до дороги добегает...»

Вдруг она услышала музыку.

«Откуда? Что это?»

Звуки падали с неба, с холодных и косматых туч, смешивались с грохотом штормового моря.

Мария остановила машину.

— Тебе нравится? — спросил ее голос Смерча. — Это Шопен. Я много раз слушал его в Париже, когда он там жил.

— Не знаю... Я не разбираюсь в музыке. Когда устаю, люблю послушать что-нибудь легкое.

Мария выбралась из машины, надела куртку.

— Здесь так холодно и мерзко, — пожаловалась она.

— Давай улетим, — предложил Смерч. — Ты только не бойся, доверься мне. Через час мы будем в трехстах километрах отсюда. Хочешь?

Прекрасные звуки фортепианной музыки сами собой смешались, умолкли.

«А вдруг уронит?! — подумала со страхом Мария. — С другой стороны — это так интересно. Ты же хотела прокатиться верхом на урагане. Решайся, железная лошадка!»

— Полетели! — выдохнула она и прикрыла глаза, чтобы не видеть, как от туч отделяется ужасный черный удав, падает на нее с высоты.

На этот раз Мария не задохнулась в теле Смерча от нехватки воздуха, не обожгли ее и «руки» — бешено вращающиеся стенки воронки. Каким образом можно было это сделать, как торнадо умудрялся держать ее как бы в невидимом коконе, Марию вовсе не интересовало. Ей было просто не до того.

Она видела метрах в двухстах под собой кипящее море, инстинктивно хваталась за воздух, болтала ногами и... не находила опоры.

Первые секунды чувство это было настолько жутким, что Мария едва удержалась, чтобы не закричать, не скомандовать Смерчу немедленно вернуть ее на землю. Она снова прикрыла глаза, а когда открыла — на смену ужасу пришло веселье и опьяняющее чувство полета.

— Подними меня повыше,— попросила Мария, и тотчас упала ввѣрх, и сердце сладко зашло от нескольких мгновений невесомости.

Они летели в глубь моря.

Чем дальше уходил берег, тем спокойнее становилось море. Вскоре в тучах появились просветы, блиснуло солнце.

Слева от них среди волн показался небольшой корабль — по-видимому, рыбацкий сейнер.

— Что же ты не нападаешь на него? — спросила Мария. — Переверни эту посудину, потопи вместе с командой. Для тебя это ведь привычное дело.

Смерч резко отвернул в сторону, обошел корабль.

— Ты пошутила? — спросил коротко он.

— Вовсе нет. Я сегодня прочла книгу об ураганах и смерчах... Я не знала раньше, что вы приносите людям столько бед и разрушений. Это ужасно! Зачем?

— Я ждал этих упреков... — Смерч говорил медленно, как бы нехотя. — Поверь, ни я, ни мои друзья ни разу не причинили людям вреда. Но ты ведь знаешь — нас очень мало. Я, например, один из тысяч, из десятков тысяч, единственный в мире торнадо, обладающий сознанием. Остальные — дикие и слепые явления природы. Вы же не упрекаете море в том, что оно топит корабли и людей, насылает разрушительные цунами?

— Все равно это плохо! — воскликнула Мария. — Ну, почему, почему мы не можем договориться?

— Как вы можете понять и принять меня, свои леса, моря и реки, все, что не похоже на вас, другое, — возразил Смерч, — если вы, люди, не договоритесь друг с другом, не понимаете друг друга?

— Это точно, — улыбнулась Мария. — Я только что жениха своего отругала.

— Он тебя обидел?

— Нет. Я запретила ему появляться пару дней на глаза, а он ревнует, думает, что я с кем-то встречаюсь.

Сегодня в кустах отсиживался, следил. Ну я ему и выдала...

Смерч промолчал, будто не расслышал или не понял несколько пренебрежительное: «Думает, что я с кем-то встречаюсь».

А потом на горизонте показался другой берег моря, где была уже другая страна, и Мария вмиг забыла про все проблемы, залюбовалась белокаменным городом и его высокими минаретами.

Смерч показывал ей крутые берега и причудливые бухты. В одной из них на дне, накренившись на левый борт, стоял старинный фрегат, правда, без мачт и команды, но позеленевшие пушки его были по-прежнему грозными, подводные течения колыхали водоросли, и казалось, что фрегат неслышно подкрадывается к берегу — сейчас грохнут пушки, и птицы испуганно замечутся над прибрежными скалами.

А потом был вечер и была ночь. Лунная и звездная. Ночь соединила небо с морем, наполнила их сиянием и таинственной игрой теней. Растрепанные волосы Марии искрились и светились, она кричала восторженно, пела:

— Он приходил и распахивал двери!..

А то начинала требовать ласки и повторяла, задыхаясь от смеха:

— Только не говори, что ты нематериальный.

Или кричала-спрашивала:

— Я похожа на ведьму? Говори же быстро: похожа, похожа... Ты самая прекрасная ведьма в мире, Мария! Говори!

Самолет прекрасно слушался рулей, и Маленький Рафаэль на какое-то время забыл о своих тревогах и сомнениях.

«Что еще надо для счастья? Вот я, вот — небо! Нам хорошо вдвоем. Я могу резвиться и кувыркаться в поднебесье, как щенок, которого впервые выпустили погу-

лять. Могу выключить мотор и слушать, как свистит в плоскостях ветер. А захочу, так стану гоняться за одинокими тучами и буду чувствовать себя смелым и свободным. Так живут только птицы».

Рафаэль понимал: красивые слова — попытка успокоить себя. Ибо все эти его полеты — не более чем самообман, привычка держать себя в летной форме. Раз тебя уже несколько лет под разными предлогами не допускают к соревнованиям, значит, отлетался. Хоть со щенком себя сравнивай, хоть с орлом — отлетался.

С его занятиями художеством тоже не лучше. Этикетки, конечно же, выгодный заказ. Но как его получить? Все хвалят его эскизы, даже восторгаются, а договор не заключают...

Но главное, конечно, Мария. Какое-то тайное подводное течение уносит ее, разъединяет их. Впрочем, какое течение. Нет сомнений, что у нее появился кто-то другой. Кто-то из «золотых» мальчиков, которые промышляют в приморских городах всем понемногу — контрабандой, валютными сделками, фарцовкой и, конечно же, подделываются под суперменов.

Маленький Рафаэль вспомнил, как отчитала его Мария несколько дней назад, когда он решил проследить, с кем она все-таки встречается на косе.

Он плохо спрятал машину — там, кроме худосочных маслин и акаций, больше ничего не растет — и был обнаружен.

Мария на большой скорости проскочила его «наблюдательный пост». Затем резко развернулась, погнала машину прямо на него.

— Ты что, вздумал следить за мной? — Лицо ее пылало от гнева, и Рафаэль почувствовал, что еще немного — и она ударит его.

— По какому такому праву ты шпионишь за мной? — Она теснила его к машине. — Я больше не хочу иметь с тобой дела. Понял?! И вообще: чего ты ко

мне привязался?! Найди себе другую бабу и не морочь мне голову.

Мария повернулась, взбешенная, чтобы сесть в свою машину, но, видимо, что-то вспомнила, остановилась.

— Послушай, Раф.— Она на миг стала прежней, ласково прижала его голову к себе.— Ты же умный парень... Я хочу, чтобы ты понял. Тебе нельзя сейчас видаться со мной. Опасно! Он, ну тот, о котором ты догадываешься, не такой, как все... Он не поймет... Если он увидит нас вдвоем, он убьет тебя, Раф. Я не пугаю и не шучу. Он такой...

Мария уехала и даже помахала рукой на прощание.

«Убьет...— Маленький Рафаэль мысленно улыбнулся.— Мария в своем стиле. Все внешнее и показное она, как девочка, воспринимает всерьез. Да, я не вышел ростом, но кое-что смыслю в вольной борьбе, а в армии занимался каратэ. Хотел бы я встретиться с ее другом на узкой дорожке. И встречусь! Просто так я Марию не отдам! Она непостоянная, как ветер, но даже ветру, очевидно, надо иметь свое пристанище, какой-нибудь уголок, где он мог бы прилечь и отдохнуть до утра... Она вернется... Роковые страсти сгорают так же быстро, как спички. Чирк — и нет ее».

Маленький Рафаэль глянул вперед по курсу — там синело небо. Чистое, без единого облачка, уходящее на горизонте в дымку далеких высот.

Глянул вниз.

Слева играло бликами сонное море. Справа, за желтой полоской пляжа, виднелась обычная курортная чересполосица. Россыпи пансионатов, отелей и частных дач, пустоши, еще до поры до времени не освоенные человеком. И везде зелень. То упорядоченная, расчерченная на квадраты парков с повторяющейся геометрией аллей, то дикая, подступающая к берегу зарослями бамбука и самшита, среди которых изредка встречались островки гигантских эвкалиптов.

Маленький Рафаэль связался с диспетчером аэроклуба, передал запрос на посадку:

— Стрела, Стрела. Я — 24-й, я — 24-й. Разрешите посадку. Сообщите метеоусловия.

— Я — Стрела,— тут же отозвался диспетчер.— Посадку разрешаю.— И насмешливо добавил: — Метеоусловия нормальные. В радиусе двести миль ни одного облачка.

— Вас понял. Спасибо,— сказал Маленький Рафаэль и отключился.

Упоминание об облаках опять вернуло его к мыслям о Марии.

«Она здорово изменилась... И случилось это именно после несчастья. Оно в общем-то и неудивительно. Если бы тебя подхватил Черный Дьявол и, поиграв, не убил, а бросил черт знает где... Любой мог бы свихнуться. Мария еще молодец. Правда, что-то и в ее хорошенькой головке слегка сдвинулось. Взять хотя бы ее дурацкое мистическое интервью. Намеки, недомолвки, бредни о каком-то голосе, связи человека со стихиями. А чего стоит утверждение, что она попытается приручить торнадо?.. Все это, конечно, глупости. Но Мария в них упорствует и даже на свидания со своим новым другом ездит на косу. Туда, где ее подхватил смерч. При ее фантазии можно наплести кучу небылиц. И всюду она будет самая красивая, самая храбрая, самая исключительная».

Резкий порыв ветра чуть не бросил самолет в пике, и Маленький Рафаэль из всех сил вцепился в штурвал, выравнивая машину.

Он не мог опомниться от изумления.

Прямо по курсу клубилась огромная грозовая туча. Откуда она взялась? Еще несколько минут назад в небе не было и перышка. Да и диспетчер... Он даже посмеялся над его запросом. Вот тебе и «двести миль»!

В фиолетовых недрах тучи клубилась дымно-сизая тьма, слепая и яростная в своей немеренной силе.

Маленькому Рафаэлю стало не по себе.

Он не был суеверным, но ведь это надо же: только подумал о пакостях небесных, а они тут как тут. Даже не туча, а целый грозовой фронт.

Он снова связался с диспетчером:

— Стрела, Стрела, я — 24-й. По курсу мощный грозовой фронт. Попробую обойти с севера.

— Эй, Раф?! — обеспокоился диспетчер. — Ты случайно не спятил? Откуда там могут взяться тучи? Что ты плетешь? Там только что летал 18-й — жаловался, что солнце глаза слепит. Сводки тоже прекрасные.

Маленький Рафаэль отключил бесполезную связь, потому что и на севере громоздились зловещие черные бастиионы.

Тогда он потянул штурвал на себя, дал газ. Маленькая машина, завывая двигателями, круто полезла вверх.

Но туча, казалось, ожила и решила во что бы то ни стало поймать металлическую птицу. Грозно клубясь, она на глазах вспухала, стремительно поднималась вверх, догоняла.

Самолет трянуло раз, другой.

Затем болтанка усилилась настолько, что Маленький Рафаэль забыл обо всем на свете: только бы удержать машину! Любой ценой удержать машину!

В кабине стало темно и холодно.

«Проскочу понизу», — решил он и повел штурвал от себя. Прижаться к земле, дотянуть до аэродрома... И к черту все полеты! Он уже перерос эту юношескую увлеченность. Надо устраивать свою судьбу, а не готовиться к мифическим соревнованиям, к которым тебя даже не допустят — стар ты уже для спорта, малоперспективен...

Громада облака осталась сверху. Маленький Рафаэль положил самолет на прежний курс, прибавил газу.

И тут он с ужасом увидел, как от облака отделилась

черная воронка смерча, стала вырастать, направляясь примехонько к нему.

«Он убьет тебя...— вспыхнули вдруг в сознании слова Марии.— Кто «он»? Смерч? Чепуха какая-то. При чем тут смерч?..»

Маленький Рафаэль потянулся к заветному рычагу, который открывал кабину. Единственная надежда — парашют.

Пульсирующий вихрь настиг его самолет на мгновение раньше. Рычаг ушел до упора, однако обтекатель остался на месте, и Рафаэль понял — это смерть.

Самолет рвануло вверх, бросило вниз. Он ударился лицом о приборную доску, выругался. Какие-то доли секунды вокруг была сплошная тьма, затем стены мрака раздвинулись, и вверху показалась голубая колеблющаяся дыра — свирепый глаз торнадо, от «взгляда» которого застыла кровь, а руки сами бросили штурвал.

Кабина как-то странно задрезбжала.

«Разваливается... Все!» — мельком отметило сознание.

И вдруг Маленький Рафаэль понял, что это — смех! Огромный, вездесущий, от которого сотрясается скорлупа самолета.

— И это ты? — спросил его густой сильный Голос, в котором прорывались шипение и свист ветра. Голос тоже шел отовсюду.— Капля ума, чью ауру я почти не вижу? Ты бесполезнее даже этих глупых облаков, что толкуются в небе. И ты, ничтожество, владел Марией?!

Маленький Рафаэль почувствовал: еще немного — и он сойдет с ума. От ужаса, непонимания происходящего. И все же какая-то здравомыслящая клеточка подсказала ему: надо отвечать. Пока будет продолжаться этот фантастический диалог то ли с небом, то ли с ветром держащим в плену его самолет, до тех пор будет надежда на спасение. Пусть крошечная, микроскопическая — другой нет.

Он облизнул пересохшие губы, с трудом разлепляя рот, сказал:

— Она... она любила меня...

— Врешь! — гневно пророкотал Голос. — Не любила, не любит и уже никогда не будет любить. Смотри!

Бешено вращающиеся стены воронки на миг сомкнулись, самолет трянуло, заскрежетал металл, и крылья... исчезли. Их оторвали с такой же легкостью, с какой Рафаэль обрывал в детстве крылья бабочкам.

— Я не сделал Марии зла, — прохрипел он, понимая, что все равно обречен.

— Ты недостойн ее. Ты просто лишний, — прервал его Голос. — От тебя исходит столько страха, что я задыхаюсь в его зловонии. Ты уже не человек, ты — падаль.

— Кто ты? — Маленький Рафаэль заплакал. — Зачем я тебе понадобился? За что ты хочешь меня убить? И при чем здесь Мария? Таких, как она, тысячи. Десятки тысяч... Я уеду. Я немедленно уеду... Если она тебе пужна, бери ее... Только не убивай!

Неземной жуткий смех опять потряс обломок самолета.

— Вот цена твоих чувств, ничтожество... Когда-то ты рвался в небо, считал, что только полет дает ощущение счастья. Когда-то ты был человеком... Я дарю тебе сегодня настоящий полет. Лети, ничтожество!

Яростный глаз смерча сместился в сторону вместе с поронкой. Остались лишь суровая каменность тучи над головой, близкая земля и внезапная тишина.

В следующий миг фиолетовая громада тучи переметнулась с плоскостью земли, замелькала перед глазами полумертвого от страха Рафаэля.

Обломок его самолета падал на прибрежные скалы.

— Отложите бежевое и вон то, с декольте, — сказала Мария продавцу. — Я пришлю за ними вечером.

Мария, как математик, давно открыла для себя

аксиому: «Достоинство женщины прямо пропорционально ее покупательским возможностям».

Она прошла десятка полтора магазинов, но купила только помаду и пляжный махровый халат.

Еще несколько вещей — дорогих и красивых, в том числе сережки с шестью небольшими бриллиантами — отобрала, прекрасно понимая, что выкупить их не на что. Такие «покупки», выражаясь опять же языком математики, Мария называла «мнимыми величинами». Это как дорогие духи: купить не купила, но понюхала, и еще долго тебя сопровождает тонкий запах от «Диора».

Возле магазина «Подарки» Мария лицом к лицу столкнулась с Хомячком.

Доктор был нагружен покупками.

— О, соперница Пёкоса Билла! — обрадовался он, жадно осматривая Марию. — Вы очаровательны! Какой контраст: загорелая кожа и нечто белое, кисейное, от которого мужское воображение вспыхивает словно порох. Как вы себя чувствуете?

— Вашими молитвами, доктор, — весело ответила Мария.

— А вы молодец, — похвалил ее Хомячок. — Из в общем-то заурядного происшествия сделать себе рекламу на полполосы... Неплохо придумано. И фото отличное. Вы на нем как дева Мария — святость, порыв и тайна в одном лице. Вам теперь, наверное, в городе прохода не дают?

— Я поняла ваш намек, доктор, — засмеялась Мария. — Извините, но на роль святого духа вы явно не подходите.

— Жаль, жаль... — Хомячок даже языком прищелкнул. — Вы меня явно недооцениваете, сударыня. Ну что ж... Сердцем остаюсь с вами, а брэнному телу, увы, пора.

Доктор откланялся.

«Насчет брэнного тела он прав, — подумала Мария, высматривая телефон-автомат. — Смерч — это, конечно

возвышенно. Это даже прекрасно и удивительно, но второй день питаться консервами, ездить на косу и витать в облаках... Нет... Надо сегодня же завалиться в хороший ресторан. Для Рафа, кстати, повод оправдаться. Пусть послужит...»

Она позвонила в гостиницу.

Портье сказал, что Маленький Рафаэль утром уехал на аэродром летного клуба и пока еще не возвратился.

«Тем хуже для тебя, Раф,— улыбнулась Мария.— Мне остается зайти в ресторан, заказать лимонад и выбрать из десятка претендентов достойного. Ты сам виноват, Раф. То выглядываешь свое счастье, спрятавшись в кустах, то ищешь его в небе».

Маленький Рафаэль взял у портье лист бумаги, конверт, вернулся в номер и стал писать:

«Я уезжаю, Мария. Срочно. Сегодня же. Побуду пока у родителей — давно им обещал. Ты свободна жить и поступать, как тебе захочется. Со мною приключилась нелепая и страшная история... Я чудом остался жив».

Резко заболела голова, которую ушиб во время катастрофы, и он прикрыл глаза, чтобы переждать боль. «Страшная» — не то слово. На самом деле он пережил сегодня самую настоящую смерть.

Перед внутренним взором опять замелькали, перемежаясь, темень тучи и огромная, как бы летящая ему навстречу земля. За считанные мгновения до сокрушающего удара от тучи вновь отделился хобот смерча, черной молнией упал на обломок его самолета, подхватил над самыми скалами...

Удар получился все же очень сильным.

Фонарь кабины лопнул и разлетелся на куски, кресло пилота вырвало из крепежных гнезд. Его ударило в грудь штурвалом и он, судорожно хватая ртом воздух, никак не мог преодолеть спазм.



Голос Смерча нашел его и на земле:

— ...Не могу... Никогда никого не убивал... Живи. Но про Марию забудь. Она — святая. У нее огонь в душе. Впрочем, тебе этого не понять. Живи... Только все забудь! Все, что с тобой произошло... Сейчас я найду и принесу крылья: ты же не ангел, чтобы летать по небу в одном кресле. Скажешь, что разбился при вынужденной посадке. И помни: ты все забыл, тебе померещилось. Живи, бескрылый.

Маленький Рафаэль поежился, будто на него снова дохнуло могильным холодом, стал быстро дописывать письмо:

«Спасибо тебе за все, Мария!

Если когда-нибудь останешься одна и если тебе будет нужна моя помощь — дай знать.

Не обижайся, что не попрощался. Я обычный человек, коих миллионы и на которых держится мир. Тебе надо большего. Ты сама как стихия, Мария. Возле тебя можно сгореть, утонуть, взорваться, а у меня еще столько маленьких, но важных для меня дел, обязательств...

Как-нибудь перебесись без меня.

Твой Раф».

Он отправил письмо, сел в машину и, не мешкая и минуты, уехал из шумного, только начинавшего свою суетную вечернюю жизнь курортного города.

Очень хотелось пить.

Мария не стала искать стакан, а, босая и раздетая, прошла в ванную, напилась прямо из-под крана.

Затем вернулась в комнату.

На улице было уже светло, вовсю пели птицы.

«Часов восемь», — подумала Мария. Одевалась и одновременно разглядывала вчерашнего избранника.

Он крепко спал, разметавшись под простыней. Мария машинально отметила: утренний свет обнажает многое из того, что электрический сглаживает или вовсе прячет.

Теперь она разглядела, что избраннику далеко за сорок и тело его, еще довольно сильное, нерасполневшее, уже утратило былую свежесть, а седина в волосах, блестевшая в ресторанном освещении как легкая изморозь, сейчас больше схожа с пеплом. Лицо избранника свидетельствовало, что он любит хорошее застолье и последние двадцать лет чаем явно пренебрегает.

«Ну, и угораздило же меня, — подумала Мария, собирая в сумочку зажигалку, сигареты, приколки. — Впрочем, он славный малый. Компанейский, веселый и без всяких занудных комплексов. Вчера мы от души

повеселились. Все остальное... Кому какое дело, черт побери?!»

Мария вернулась в ванную. Умылась, расчесала волосы. Еще попила воды.

«Я вчера, наверно, что-то не то выпила... Увлеклась. Теперь вот голова чугунная... Как, кстати, зовут избранника?»

Несколько имен тотчас появилось под рукой, но которое из них принадлежало ему, Мария так и не вспомнила. Нахмурилась. Затем улыбнулась:

«Вот и хорошо... Адреса своего я ему не оставила — ума хватило!.. Все прекрасно — встретились и разошлись. Никаких тебе терзаний и претензий».

Она надела платье, взяла сумочку, еще раз глянула на избранника. Тот спал сном усталого праведника.

Мария тихонько открыла дверь, выскользнула в коридор.

Из гостиницы она вышла с просветленным и гордым лицом, походкой независимой юной женщины, которая только-только узнала об истинном предназначении своих рук, ног, лица, волос, и все это, которое раньше жило само по себе, связала воедино, организовала и таинственным образом подчинила определенной цели — нравиться, вызывать восхищение.

Машина стояла там, где Мария ее оставила, — рядом с рестораном, прилепившись к тротуару в тени деревьев.

Она заехала на рынок, купила целую сумку фруктов и овощей, бутылок десять тоника. На развилке Мария решительно свернула на шоссе, идущее вдоль моря, хотя вчера собиралась повидаться с хозяйкой дачи и предупредить, что она задержится еще на недельку. С безством Маленького Рафаэля ситуация несколько менялась, однако возвращаться в город все равно не хотелось. Не так часто она отдыхает у моря, чтобы еще и тут думать о школе, о начале занятий и прочей ерунде. А к хозяйке и завтра можно заехать.

В ржавом почтовом ящике белело письмо.

Мария загнала машину во двор, вернулась за письмом.

То, что с Маленьким Рафаэлем приключилась «нелепая и страшная история» и что он чудом остался жив, Мария как-то оставила без внимания. Не тронуло ее и поэтическое сравнение жениха, который увидел в ней могучую и грозную стихию...

Но сам факт... Уехал?! То есть сбежал. Бросил! «Как-нибудь перебесись без меня...» Вот это было неожиданностью! Бросить девушку, которой добивался, на произвол судьбы?! Ничтожество! Он растоптал ее лучшие чувства... Ну, ничего... Ты еще явишься, просить будешь!

Мария заводи́ла саму себя, громоздила на бедного Маленького Рафаэля все более нелепые обвинения.

Она порвала письмо на мелкие клочки, выбросила их в ведро для мусора.

Затем закурила и как-то разом остыла.

«Дура! Сама во всем и виновата. Ты же прогнала Рафаэля. Наорала на него на кося, запретила встречаться. И все из-за этого... На романтику потянуло железную лошадку, а зачем? Вихрь, смерч, торнадо, силы природы... Зачем, спрашивается, рядовой учительнице силы природы? И так ли у тебя много реальных женихов, чтобы из-за этих «сил» ими разбрасываться?!»

По-прежнему кружилась голова, хотелось спать. Избранник виноват!

Мария глянула на часы. Уже одиннадцать — как быстро летит время. Вспомнила, что на полдень назначена встреча со Смерчем, и остановилась в раздумье посреди комнаты.

«Какого черта?! — озлилась вдруг сама на себя. — Каникулы кончаются, а ты все в... небесах витаешь... И Рафаэль сбежал... Не поеду! Лучше отосплюсь хорошенько».

Выпила тоник со льдом, разделась. В зеркале отразилось загорелое стройное тело. Мария постояла перед

зеркалом, чувствуя, как с каждой секундой проясняется на душе. А что? Она молода и красива. Вот! А остальное — приложится.

С такими мыслями легла в постель. С ними и уснула.

Он повторял это как молитву:

«Дыхание твое — нежный запах дыни и молока.

Песчаные многокилометровые отмели, пушок на щеке персика — вот на что похоже прикосновение к твоей коже, Мария.

...Мария... Мария... Мария... Мария...

Легкие перья облаков — волосы. Нет в мире большего наслаждения, чем перебирать и гладить их.

Руки твои — два теплых течения.

...теплых... теплых... теплых...»

Смерч на свидание опоздал.

Еще с утра он отправился в глубь материка. Там, за горами, была широкая заболоченная дельта реки, вся белая от миллионов божественных лотосов. Смерч не раз бывал в Индии и Китае, где эти цветы считались священными, и тоже полюбил их.

Он нарвал лотосов немного, несколько сотен, причем в разных местах, так как был уверен: цветы у природы первые на очереди, чтоб осознать самое себя, обрести коллективное сознание. Нельзя их рвать как попало, тем более — лотосы...

Он опоздал почти на полтора часа и теперь то ненадолго уходил в глубь моря, то возвращался назад к берегу. Марии на косе не было. Смерч не знал: задерживается ли она или уже приезжала, но, не застав его, рассердилась и уехала.

Пресная вода, которую он принес вместе с лотосами, в жарком чреве воронки быстро испарялась. Нежные цветы останутся без воды и тотчас завянут. Что делать?

Солнце стало клониться к западу.

И тогда Смерч нерешительно двинулся к маленькому домику, который снимала Мария.

Она проснулась, как ей показалось, от мертвой звенящей тишины, от непонятной чужой тоски, которая разлилась вместе с сумерками и в комнате, и в саду. Деревья за окном стояли недвижные, похожие на черных зловещих птиц.

Вдруг затрещали ветки, гроыхнула пластмассовая крыша навеса, от резкого толчка вздрогнули створки окна — в комнату со звоном посыпались куски стекла.

Мария испуганно привстала.

— Извини, родная! — Горячий шепот пульсировал, метался по комнате. — Я такой неуклюжий. Как ни стараюсь быть осторожным, обязательно разобью хоть одно стекло.

— Зачем ты ворвался в чужой дом? — сердито спросила Мария. Она встала, накинула халат. — А если бы хозяйка была дома?

— Я не подумал. Ты такая красивая, — задумчиво сказал Смерч. — Твое тело светилось в полумраке, будто оно из янтаря. Я ждал на косе. Тебя все нет и нет... Начал волноваться. Послушай, Мария! Я все время вспоминаю наше путешествие. Ты тогда тоже светила. Море, звезды... И ты летишь среди звезд... Это было прекрасно. Правда?

— Меня укачало. До сих пор муторно, — сказала Мария, и слова ее были чистой правдой.

Она сладко зевнула, потянулась.

— Я принес тебе подарок. Выйди во двор, посмотри. Мария вышла на веранду и ахнула.

На крыльце, дорожке, ведущей к калитке, под деревьями — всюду лежали охапки незнакомых белых цветов, похожих на лилии.

Цветы ее вовсе не обрадовали. Ахнула Мария пото-

му, что увидела в саду множество поломанных веток, а главное — расщепленный надвое ствол низкорослого старого персика, который рос возле бассейна. В бассейне почему-то не было воды. На дне его валялись вперемешку с песком листья и сорванные вихрем плоды.

Она подняла несколько мокрых больших лотосов, гневно ткнула ими в пространство перед собой:

— Удружил! Мне теперь надо полдня на коленях ползать — собирать этот мусор.

Она отшвырнула цветы. Не скрывая своего раздражения, закричала:

— Что ты натворил в саду?! Ты все здесь поломал. Теперь мне придется платить хозяйке — возмещать убытки. Где я возьму столько денег — ты подумал?!

— Не сердись. Я что-нибудь придумаю, — виновато прошелестел Голос-ветер.

— Что ты придумашь? — презрительно переспросила Мария. — Что ты вообще можешь? Пугать людей и строить воздушные замки?

Смерч долго молчал.

Мария присела на крыльцо, опустила голову. Все не так, все рушится... Ну и пусть...

— Ты права, Мария, — наконец ответил Смерч. — Но ведь я люблю тебя. Хоть что-нибудь это значит?

Она засмеялась:

— Все это бред! Человек не может жить одним возвышенным и духовным. Мы, люди, состоим прежде всего из плоти. А ты только ветер. Так сказать, в чистом виде. Ты все равно что бог. Ему молятся, но с ним не спят... Пойми наконец. Я обычная земная женщина, и мне нужен муж из плоти и крови. Я хочу рожать ему детей. Хочу иметь свой дом... Пойми: я хочу жить как все люди...

В ней снова заговорила злость, потому что со Смерчем, как ни погляди, были связаны все ее неприятности.

— Оставь ты меня! — грубо сказала Мария. — Чего ты ко мне привязался? Тебе дан весь мир, все доступ-

но... Найди себе другую бабу и не морочь мне голову. Уходи!

Мария вдруг поняла: только что она почти слово в слово повторила то, что говорила во гневе Маленькому Рафаэлю. Там, на косе, когда поймала его на слежке за собой... Поняла — и ужаснулась.

То был Раф, созданный для того, чтобы вить из него веревки. А это — Смерч! Прекрасный могучий торнадо, которому ничего не стоит убить ее за эти слова, разметать в пух и прах домик и сад, пустить все по ветру.

Страх тысячами мурашек разбежался по телу, но Мария упрямо подняла голову, откинула ее назад, устремив в сгущающиеся сумерки презрительный и острый взгляд.

В этот миг она более всего была похожа на змею, которая предупреждает угрожающей позой всякого, даже того, кто сам спешит обойти ее десятой дорогой: «Не тронь меня! Уходи!»

«Нет!.. Нельзя!.. Никогда!.. Невозможно! ...Нет... нет... нет!..»

Он втянул в себя воронку и, бешено вращаясь, ввинчивался в холодную бездну неба.

Выше! Еще выше! Туда, где небосклон залит смородиновым соком, где за пределами атмосферы таится вечная ночь. Лучше задохнуться от нехватки воздуха, взорваться, не имея сил, а главное — не желая больше удерживать свое тело-облако в пределах жизни. В самом деле! Лучше вернуться к первоначальному состоянию, стать безмозглым ветром, чем измельчать, загнать, словно джинна в кувшин, свой вольный дух в крохотный мирок человеческих интересов... Отец предупреждал его, предостерегал. Конечные формы и твердая материя так опасны! Общение с ними грозит остановкой

движения, а это хуже смерти. Это предательство всего живого и движущегося...

Смерч яростно стегал себя упреками, заковывал в броню запретов.

«Что толкнуло меня к человеку?» — маялся он безответными вопросами.

...человеку... человеку... человеку...

Тоска и одиночество? Только ли они? Конечно, проявления сознания на уровне неживой природы очень редки, уникальны. За сотни лет скитаний по Земле я, помнится, только раз встретил разумный Смерч. Лучше бы и не встречал... Я тогда был молод и глуп, насвистывал какую-то понравившуюся человеческую мелодию. А этот безумец налетел на меня с бранными словами на всех языках народов мира, стал прижимать к скалам, над которыми я как раз пролетал.

...безумец... безумец... безумец...

Я, помнится, испугался. Скалы — это остановка движения, смерть. Я ударил безумного воронкой — он шарахнулся в сторону и улетел. Почему называю его безумным? Не знаю. Наверное, потому, что не понимаю его. Среди тысяч, десятков тысяч тупых и разрушительных сородичей, чье существование измеряется всего лишь минутами или часами, встретить разумный Смерч — и не обрадоваться, не подружиться, а, наоборот, наброситься как на смертельного врага? Непонятно.

...понятно... понятно... понятно...

Впрочем, кто сказал, что он был разумным? Разноязыкая брань еще не свидетельство ума. Попугаи тоже «говорят» — и что с того?!

Тоска и одиночество. Жажда общения — вот что толкает нас к людям. Меня, отца... Разум тянется к разуму, но чтобы подружиться с человеком, надо стать ему подобным. Невозможно! Немыслимо! И потом — только ли это мучает тебя, мучило отца? Мучило и погубило — по земным понятиям, у него остановилось сердце. То есть угасло движение — и могучего торнадо не стало...

Жажда общения? Но у тебя есть друзья, такие же, как ты, прекрасные аномалии природы, в которых благодаря миллиону удачных совпадений некогда тоже затеплоилось самосознание и родило бессмертную силу ума. Вулкан по имени Стромболи, Теплое Течение, Айсберг и, наконец, древний и мудрый Байкал.

...сила... сила... сила...

А раз есть друзья, то твое безмерное одиночество — не более чем уловка, поэтический образ.

Наберись мужества, Смерч, сказал он сам себе, и признайся, что тебя страшит не просто человек, не абстрактная несовместимость, а конкретная женщина по имени Мария. Это она разрушает твой дух и заставляет твою бестелесную плоть вращаться со сверхзвуковой скоростью, ввинчиваться в глубь неба, где, кроме звезд и смерти, ничего больше нет.

Она прогнала тебя, отвергла. И теперь ты хочешь одного — взорваться в стратосфере.

Зачем тебе Женщина, ветер?

...зачем?.. зачем?.. зачем?..

Смерч задышался от противоречий и нехватки воздуха.

Вращение его замедлилось — подступившая пустота космоса безжалостно рвала на куски тело-облако.

Он почувствовал: еще немного — и он не сможет больше поддерживать себя как систему. И еще Смерч вдруг понял, что глупо и бессмысленно погибнуть вот так — бесславно, с чувством вины, ничем не облегчив участь возлюбленной. Он в самом деле виноват, он обещал Марии что-нибудь придумать, помочь, он должен сдержать свое слово!

С той же энергией, с какой он ввинчивался в пустоту стратосферы, Смерч ринулся вниз.

Он смертельно устал. Но жаркое солнце и тугие вос-

ходящие токи воздуха вскоре вновь влили в его тело волю и силы.

Над землей паслись стада безмозглых кучевых облаков.

Он с яростью набросился на них, перекатывая раскаты грома и грозно посверкивая молниями.

Смерч опустил сразу несколько воронок, стал рвать и разбрасывать во все стороны холодные мертвые клубки конденсированного водяного пара. Часть из них он тут же пожирал, тяжелея и на ходу проливаясь дождем.

Вскоре это бессмысленное занятие ему надоело.

Смерч подобрал воронки, постоял несколько минут на месте, раздумывая, куда бы ему отправиться, и... отдался воле случайных ветров. Пусть несут куда хотят. Ему теперь все равно.

К утру погода опять испортилась. Небо затянуло тучами, стал срываться мелкий дождик.

Мария надела куртку, вышла в сад.

Большие белые цветы, напоминающие лилии, завяли.

Мария заметила возле гаража грабли, принялась сгребать цветы в кучу.

«Как после пышных похорон...»

Подумала без улыбки, потому что в душе уже жалела, что так повела себя со Смерчем. Рафаэль — другое дело. С ним чем хуже обращаешься, тем лучше он становится. А этот... Он же не человек. И потом... Он прилетел к ней такой восторженный, с какими-то заморскими цветами, а она отхлестала его словами, прогнала... Подумаешь — дерево сломал... Впрочем, никуда он не денется, как и этот глупый Рафаэль...

Мария вздохнула, вернулась в дом.

Делать было нечего. Она обошла все три комнаты, скользя придирчивым взглядом по старой мебели и пыльным выцветшим коврам. Будь этот дом ее, за пару недель его можно было бы преобразить. Все это старье

выбросить. Вместо побелки — светлые обои, которые сразу бы согрели комнаты и придали бы им уют. Купить хорошую мягкую мебель. А в прихожую — большой ковер золотисто-охровых тонов...

Мария снова вздохнула и отправилась на кухню.

Несколько дней назад, надумав сварить на зиму варенье, она купила на рынке полведра айвы — зеленой и очень твердой. Теперь она отлежалась, стала мягче. Погоды нет — самое время заняться вареньем.

Она поточила нож и, мурлыча старую мелодию Джо Дассена, стала очищать плоды от кожицы. Затем вырезала сердцевины, нарезала айву дольками, положила их в кастрюлю и залила кипятком, чтобы проварить.

Кожицу, оставшуюся после чистки, сварила отдельно — для сиропа.

Делала все по памяти, полагаясь на интуицию, которая никогда ее не подводила.

Попробовала приготовленный сироп — вкусно! — залила им дольки и пошла переодеваться. Пусть теперь стоит до вечера. А потом варить эту айву не переварить, в несколько приемов, пока дольки не станут прозрачными и медовыми.

«Поеду обедать в ресторан, — подумала Мария, примеряясь, что же ей надеть. — Раз меня все бросили, надо пользоваться свободой».

Он разом отверг все надежды и решил больше к ним не возвращаться. В самом деле: что общего может быть у огня и воды, у ветра и неподвижного камня! Встречаясь, они несут друг другу только смерть и разрушение.

Ему было как никогда плохо.

Казалось, все страсти раз и навсегда раздавлены обстоятельствами и подавлены умом. Он доказал себе неизбежность утраты, уяснил, что стихия и человек только живут рядом, а по сути своей далеки друг от друга,

как звезды. И все же боль и тоска не уходили, гнездились в каждом уголке набухшего дождем и электричеством тела.

Смерч был как никогда силен и одновременно чувствовал, что находится на грани гибели. Говоря земными понятиями, он надорвался.

То, что носил Марию в своих объятиях,— только в радость. А вот церковь таскать на себе не стоило (несколько дней назад Мария обмолвилась, что ей нравится обряд венчания, и он, дурачок, той же ночью попытался притащить на косу небольшую деревянную церквушку. Поднять поднял, а унести не смог — силенок не хватило...). И уж тем более нельзя было спасать падающий самолет... Отец знал это. Он недаром предупреждал: «Бойся вещества. Оно нас убивает».

Уже дважды Смерч испытал жуткое ощущение провала в движении. Не том, внешнем, которое носило его вдоль побережья, а том, что составляло основу его жизни — спиральном и неизбывном, которое то тихим воздуховоротом кружилось внутри облака, то, по желанию, вырывалось могучими воронками торнадо. Из рассказов отца Смерч знал: в таких случаях надо немедленно лететь куда-нибудь в Южную Америку, поближе к Андам, где сочетание мощных муссонов, которые несут с океана на сушу влажный и теплый воздух, жаркого солнца и дыхания ледников может вылечить, добавить силы.

Он знал все это, как, впрочем, и то, что отцу Анды не помогли, и все равно третий день летал вдоль побережья и никак не мог распрощаться с этим захудалым уголком суши.

Его оскорбили, отвергли, унизили, а он... Да! Он чувствует себя виноватым! Марии еще труднее, чем ему. Неспроста она с таким отчаянием выкрикнула фразу: «Чем, чем я заплачу хозяйке?!» Ему для жизни нужны ветер и солнце. Для счастья — достаточно улыбки Марии. А людям? Ох, и много же им нужно только для

того, чтобы не умереть. Еда и вода, кров над головой, одежда, тысяча других вещей. Все это покупается за деньги. Их, в свою очередь, надо зарабатывать. Убогий и тоскливый замкнутый круг, в котором и заключена жизнь человека.

«Я улечу,— подумал Смерч.— Но у Марии из-за меня будут неприятности. У людей все покупается за деньги. Значит, надо достать для нее денег».

Он перебрал несколько вариантов: ворваться через окно в какой-нибудь банк и вымести оттуда все ассигнации, напасть на какого-нибудь богача? Нет, не то. Разумная стихия не должна и не может причинять вред человеку. Да и выглядит все это чисто по-людски: ворваться, напасть, ограбить.

И тут Смерч вспомнил историю, свидетелем которой он случайно оказался то ли в конце шестнадцатого, то ли в самом начале семнадцатого века у северо-восточного побережья Флориды.

Несколько лет подряд он наблюдал тогда забавы ради за промыслом флибустьеров и, конечно же, не мог не обратить внимания на крохотный островок Амелия.

В то время там хозяйничал знаменитый пират Эдвард Тич, известный больше по кличке Черная борода.

Как-то его бриг в очередной раз бросил якорь в бухте Фернандина. Смерч завис над ним, притворившись тихим мирным облаком, смотрел, как веселятся на палубе пираты. Больше всех в тот день пили и гуляли братья Вильям и Давид — коренастые, необыкновенно волосатые насмешники, которые могли пройтись соленым словом даже в адрес капитана.

На берегу Эдвард Тич собственноручно ссыпал драгоценные камни в две переметные сумы — он любил камни и никогда никому их не доверял. Из матросов Чер-

ная борода в тот раз взял в помощники Давида. Остальным велел готовить бриг к выходу в море.

Они ушли в глубь острова, чтобы спрятать сокровища. Смерч видел все с высоты как на ладони и чувствовал: что-то должно произойти.

Было жарко. Давид нес мешок с золотыми монетами, еду и лопату. Поначалу матрос балагурил и шутил, но вскоре выдохся — устал.

Эдвард Тич шел молча, изредка поглядывая — высоко ли солнце. Затем, покружив среди скал, резко свернул к берегу.

— Кэп! — взмолился Давид. — Я уже валюсь с ног.

— Скоро отдохнешь, — сказал Черная борода, и глаза его недобро сузились.

Они вышли на берег.

Эдвард Тич осмотрелся, указал на землю возле одной из пяти пальм, росших как бы кружком:

— Копай здесь.

Матрос взялся за дело. Через час яма была готова.

Черная борода бросил туда переметные сумы с драгоценными камнями, положил мешок с золотом.

— Давай теперь подкрепимся, — предложил он Давиду.

Они съели вяленое мясо и сыр, выпили бутылку рома. Каждый кусок капитан разделил поровну, по справедливости.

Затем Эдвард Тич закурил свою любимую трубку, а когда матрос наклонился, чтобы взять лопату, выстрелил ему в затылок.

Докурив трубку, пират бросил тело несчастного в яму, приказал, пряча в бороде улыбку:

— Сторожи мой клад, Давид. Я запомню твой веселый смех.

Закидав яму песком и тщательно замаскировав ее, Эдвард Тич выпрямился, поглядел в сторону пустынного океана.

— Пусть тот, кто дотронется до моего золота, спрятанного здесь,— начал он традиционное заклятие, и правая рука его с растопыренными пальцами протянулась вперед, как бы накрывая и оберегая клад.— Пусть помнит он, что обратный путь его будет не длиннее лезвия ножа! А ты, Давид, не обижайся. Если нам в следующий раз улыбнется удача, я определю твоего братца Вильяма где-нибудь тут, по соседству...

Смерч, помнится, тогда спешил.

Накануне он открыл, что Теплое Течение тоже разумно, и ему очень хотелось пообщаться с себе подобным. Улетая, он решил при первой же встрече в открытом море перевернуть бриг коварного пирата. Но замысел свой осуществить не успел. Возвращаясь, он встретил близ мыса Гаттерас английский королевский фрегат. Под его бушпритом болталась знакомая черноволосая голова...

«Амелия... Это не так и далеко,— раздумывал Смерч, разглядывая отражение своего тела-тучи в полуденной глади моря.— К утру я вернусь. И тогда уж насовсем улечу

...совсем... совсем.... совсем...

из этих краев».

— Какой еще ветер — возмутилась хозяйка.— О чем вы говорите, милочка. Это у вас в голове ветер. Погубить такое дерево!

Она была еще не старая, лет сорока пяти, не более, но злоба резко состарила ее, исказила черты лица.

— Меня не касается ваша личная жизнь,— продолжила хозяйка, напирая на слово «личная»,— но вы арендуете мой дом и, стало быть, берете на себя определенные обязательства. Любовники носят вам цветы корзинами? Прекрасно. Однако потрудитесь потом

убрать эти приношения, а не сваливать их в кучу у ворот. Любовники ваши молоды и полны сил? Великолечно! Но ломать ветки и деревья во время ваших игрищ вовсе не обязательно. Наконец, бассейн. Не знаю, что вы в нем делали, но куда девалась вода? Вот этого я уж никак не пойму...

— Любовник выпил! — ядовито ответила Мария и села в шезлонг. Ерунду говорят, что в разговоре превосходство принадлежит тому, кто выше собеседника. Если хорошо сидишь... — Вам этого в самом деле не понять... Страсть иссушает людей. Вот он и выпил всю воду...

Взглядом она «передавала» дополнительную информацию:

«Ты — старая зануда. Если какой-нибудь полоумный дегенерат купит тебе когда-нибудь три цветка, он обязательно выберет самые дешевые. Будь у меня деньги, я бы сто раз заставила тебя унизиться».

— Сколько я вам должна? — Мария резко встала, показывая, что вести душеспасительные беседы она больше не намерена. — Учтите, у меня уплачено еще за два дня и я уеду только послезавтра, и не раньше вечера.

Старая зануда тоже подобралась для ответного выпада, но первая фраза Марии несколько обезоружила ее.

— Да уж, послезавтра вечером... Сколько стоит большое плодоносящее персиковое дерево, я сообщу вам завтра после полудня. Надеюсь, вы не захотите, чтобы дело получило огласку и дошло до суда?

— Не беспокойтесь, — отрезала Мария и с тоской подумала, что с вокзала, после приезда в ее большой и шумный город, придется добираться, по-видимому, пешком. — Узнайте цену... Только ради бога — не спутайте эту маленькую и почти усохшую смоковницу с большим плодоносящим персиковым деревом.

Она кивнула старой зануде и с видом победителя ушла в дом.

Возле Флориды Смерч наткнулся на обширный свирепый циклон и, то и дело сбиваясь с курса, несколько часов пробивался к берегам Амелии.

Его раздражала эта бессмысленная немеренная сила, как и другие глобальные проявления неодушевленных стихий. На это же как-то сетовал и его друг Байкал. Он говорил о том, насколько целесообразной и гармоничной стала бы природа, имей она сознание. Впрочем, может, они — Байкал, Теплое Течение, Вулкан, Айсберг, наконец, он сам и его отец — может, они и есть первые проблески планетарного разума? Кто знает, что будет через сотню-другую лет?

Но сейчас было не до мечтаний.

Берега Амелии трепал жестокий шторм. Они разительно изменились за эти без малого три сотни лет. Где теперь те пальмы, что осталось от них?

Из разговоров матросов Смерч знал, что остров считают буквально наспигованным кладами. Одному Черной бороде их приписывали более тридцати. Они, конечно, есть. Но где, где их искать?

Поживившись немного штормовым ветром, Смерч занялся поисками.

Он опустил сразу три воронки и послал их в разные концы крохотного островка.

Они, невидимые во мраке ночи, мгновенно забирались в пещеры и гроты, вспарывали верхний слой песка, камней и разного мусора, проникали даже в самые узкие щели.

Тщетно!

Ни золота, ни драгоценностей не было и в помине.

Вскоре одна из воронок засосала из неглубокой расщелины у подножия скалы несколько дублонов.

Смерч перерыл вокруг этой скалы горы песка и камня, но больше ничего не нашел.

«Марии нужны деньги! — с ожесточением подумал он. — Много денег... И я их найду! Она купит себе все, что нужно для жизни, и будет хоть немного счастлива.

...много... много... много...

Это последнее, что я могу и должен сделать для нее».

Смерч напряженно вспоминал тогдашние очертания берега и ориентиры, путь Черной бороды.

Кажется, здесь. Пальм, конечно, нет. Океан отступил — это уже не берег. Но все подсказывает, что именно здесь бедный Давид выпил последний в своей жизни глоток рома.

Смерч ввинтился в песок.

Нет! Ничего нет. Опять пусто.

Он выкопал другую яму, третью... седьмую.

Клада не было.

Проклятый безумец, Эдвард Тич, и тебе подобные! Сколько лет вы болтались в морях и океанах, пировали, подыхали с голоду и все время убивали, убивали, убивали... Ради чего? Чтобы передать несметные сокровища земле, навеки похоронить их? Безмозглые алчные безумцы, вот кто вы!

На перетаскивание тонн песка уходили силы. Но Смерч все кружил и кружил во мраке, яростно вгрызался в окаменевшую землю.

«Глупая Черная борода — куриные мозги! Твой собственный обратный путь и оказался короче лезвия ножа. Где те рыбы, которые съели тебя?»

В тридцать седьмой по счету яме он наткнулся на какие-то гладкие палочки и, ощупав их, понял: человеческие кости.

Чуть глубже, как он и предполагал, оказались полустлевшие знакомые переметные сумы и остатки мешка, из которого высыпались и перемешались с землей золотые монеты и украшения.

Смерч подобрал все до последнего камешка, зачем-то поднял в воздух и череп Давида — что ж, он хорошо сторожил клад — и помчался от берегов Амелии.

Циклон простирался миль на шестьсот, и он из последних сил таранил этот необъятный омут, затягивающий и его в свое могучее и бессмысленное кружение.

Над Атлантикой, уже после Азорских островов, чуть было не случилось непоправимое.

Снова неизвестно откуда пришли слабость и оцепенение. Мир, который Смерч обычно чувствовал неделимым, единым с собой, вдруг сжался до размеров тучи, вихрь, живущий в нем, затрепетал, рванулся сразу во все стороны, превращаясь в хаос.

Драгоценные камни и золото полетели вниз.

«Все пропало! — ужаснулся Смерч. — Каких-нибудь тридцать секунд — и клад Черной бороды пойдет на дно океана... Мария, помоги мне!»

Упоминание о Марии как бы разбудило его.

Неимоверным усилием воли Смерч остановил хаос, который разрастался в его воздушном организме, в одно мгновение собрал и снова закрутил в тугую пружину все свое существо, бросил вниз стремительную узкую воронку.

Золото и драгоценности он поймал уже у самой воды и, счастливый, отягченный желанной добычей, поспешил вдоль берега к заветной косе, откуда уже совсем недалеко до маленького дома, где спит Мария, до знакомого сада, где растут орехи и персики, а под окнами толпятся сирень.

Вместе со Смерчем в Бискайский залив вступил рассвет. Ранний-ранний, еще полусонный и нерешительный.

Это было некстати: вдруг кто увидит его возле домика Марии?.. Впрочем, ей теперь все равно. Через несколько дней она уезжает... И ничего не останется от их свиданий, от их полетов, ослепительной, как солнце, нежности — всего того, что можно назвать одним словом —

безумие. Мария выздоровела. Он отвергнут. Все возвратилось на круги своя.

Стараясь не шуметь, Смерч опустил воронку во двор дома, высыпал золото и драгоценности под дверь.

Через минуту он уже летел к морю.

«Все! Я расплатился! Я ничего больше не должен людям!» — подумал Смерч.

Только теперь он, полумертвый от усталости, понял мысль древнего философа о том, что смерть может быть избавлением от мук и страданий. Сотни лет он был молодым и сильным, практически бессмертным и смеялся над этой глупой выдумкой людей. Оказывается, напрасно смеялся...

Он и не заметил, как оказался над косой, где на ощупь знал каждую песчинку, каждый прихотливый узор следов. Вот они! Следы Марии, которые не успел растворить влажный песок. Они — везде! Как неотступность памяти, как проклятие...

То ли сырой ветер с моря нагнал сюда туч, то ли он, когда спешил к дому Марии, перепутал сполохи призрачных надежд с рассветом, но над их косой было все еще темно.

Его большое громадное тело тяжело ворочалось среди глупых и мертвых туч. Смерча переполняла вода — сотни, тысячи тонн. Она была безмерна, как и его тоска. Еще в нем жили огромные электрические силы, в общем-то бесполезные и даже вредные для дальнего пути. Ему нестерпимо захотелось разразиться адской грозой, очиститься в ее сухом жаре и блеске, пролиться дождем, нет, ливнем, новым всемирным потопом.

Черная воронка несколько раз пронеслась над едва белеющей в предрассветных сумерках косой, поднимая тучи песка, сметая с нее все следы.

Затем небо раскололось от яростного удара грома, и на косу упали первые молнии.

Сначала Смерч вонзал их по одной, как стрелы. Затем стал бросать пучками, целыми кустами.

Хлынул дождь.

В голубовато-металлическом свете молний казалось, что море вокруг косы кипит и из него, спасаясь, выползают на берег сотни сверкающих, светящихся медуз. Это светились в местах ударов небесных бичей стеклянные озера расплавленного песка.

Гроза кончилась так же внезапно, как и началась.

Вконец опустошенный, но вовсе не исцеленный, Смерч потянул свое облако-тело к берегу. Пока утро, он пройдет над франко-испанской границей и ...если не остановится...— оставив в стороне Тарб и Андору, выйдет к Средиземному морю. Если не хватит сил, отлежится где-нибудь в поднебесье. А там остается проскочить между Корсикой и Сардинией, и уже будет третье море. Не повидав старика Стромболи,

...если не остановится...

не поплакавшись на его обгорелых склонах, ему не одолеть дальний путь. Анды подождут. Если ему вообще суждено еще раз увидеть их и обнять.

Смерч уходил.

И никто в мире, в том числе и Мария, не смог бы объяснить, что заставило его посадить на косе целый сад из ветвистых молний. Что значил он?! Проклятие глупости и несовершенству рода человеческого, желание испепелить место их встреч или, наоборот, небывалый фейерверк в честь небывалого чувства, соединившего, как соединяет молния небо и землю, стихию и вполне обычную земную женщину по имени Мария.

Она проснулась не от света, не от звука, а от какого-то внутреннего толчка.

И первая мысль ее была черна и страшна, как ночной кошмар, когда даже понимаешь, что все это снится, но тебе все равно больно, ты стонешь и никак не можешь избавиться от наваждения.

«Он умер. Его больше нет»,— подумала Мария.

— О ком ты? Что ты мелешь? — спросила себя вслух, чтобы голос разогнал ночные страхи.

И в самом деле. Смерч живет уже сотни лет, он, наверное, вообще вечный. Маленький Рафаэль? Нет... Ну что с ним может случиться — он ведь такой осторожный и трусливый. А больше у нее никого и нет... Это что-то ночное...

Мария встала.

«Пойду-ка я лучше к морю, искупаюсь. Всю дурь как рукой снимет».

Она надела купальник, взяла с собой махровый халат и шапочку для волос.

Вышла на веранду, толкнула дверь, которую никогда не запирала.

Дверь чуть-чуть приоткрылась, но дальше не пошла. Что-то держало ее снаружи.

Мария налегла плечом.

На крыльце что-то металлически зазвенело, рассыпалось.

Мария протиснулась в образовавшуюся щель и ахнула.

Дверь подпирала куча старинных золотых монет и украшений.

В еще неярком утреннем свете всеми красками радуги играли бриллианты, которыми были усыпаны распытья — большое и маленькое. Поверх золота лежали жемчужные ожерелья, светились драгоценными камнями целые россыпи перстней и колец, всевозможных серег, браслетов и диадем, украшенных рубинами и изумрудами.

У Марии поплыло перед глазами.

«Это Смерч! Я говорила о деньгах, упрекала... Он где-то выкопал клад и принес».

— Где ты? — шепотом спросила она, охватывая горячим взглядом утренний сад. — Ты здесь? Отзовись. Я прошу тебя: отзовись! Я была не права... Я больше не сержусь на тебя.

В саду ни шороха, ни звука, ни ветерка.

«Здесь целое состояние! — Мария не могла оторвать глаз от сокровищ. — Их хватит на всю жизнь: детям, внукам, правнукам... Это какое-то чудо!»

И тут пришел ужас: вдруг кто увидит, отберет. Чтобы завладеть таким богатством, могут и убить.

Мария бросилась к машине. Рывками, то перегазовывая, а то изо всех сил нажимая на тормоз, подогнала ее к крыльцу, открыла багажник.

Украшения еще старалась класть аккуратно, чтобы не повредить драгоценные камни, а золото уже бросала горстями. Затем сняла халат, стала сгребать монеты прямо в него.

Быстрее!

Еще быстрее!

«Это твой шанс, Мария! Не упусти его, Мария! Бери его, Мария!» — заклинала она самое себя, задыхаясь от радости и одновременно млея от страха, что кто-нибудь чужой застанет ее за этим занятием — хотя бы та же старая зануда.

Когда все подобрала, еще раз на коленях обшарила каждый уголок; каждую щель крыльца — не закатился ли случайно какой-нибудь камушек или дублон?

И только когда захлопнула багажник и закрыла его на ключ, почувствовала себя в безопасности. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Хотя, конечно, в таком крупном рискованном деле без помощника ей не обойтись...

Глаза заливал пот усталости, сердце колотилось, как после подъема на горную вершину, и Мария без сил присела прямо на багажник.

Мозг ее, однако, работал быстро и четко.

Отдышавшись, она поехала на почту и, ни на минуту не выпуская из виду свою малолитражку, отправила Маленькому Рафаэлю телеграмму:

«Немедленно приезжай необходима твоя помощь жду вечером Мария».

Подъезжая к дому, она вдруг вспомнила, как ходила по комнатам, мечтала о том, что бы она сделала, будь этот дом ее. Перед глазами вновь возникло лицо старой зануды.

Мария злорадно рассмеялась.

Уж теперь она не пожалеет лишнего камушка, а десять, нет — двадцать раз заставит эту крысу унизиться. За деньги та на все пойдет... Во всяком случае, дом этот старая зануда назад не получит. И поломанный персик — тоже.

Мария загнала машину во двор, заперла ворота. Все! Теперь остается ждать Рафа.

Взгляд ее остановился на куче того, что еще два дня назад было прекрасными белыми лотосами. Лепестки их сморщились, стали грязно-желтыми. От кучи шел странный запах, в котором еще чувствовался и тонкий, чуть сладковатый аромат, и уже явно пробивался тяжелый болотный дух разложения.

«Он ушел! — поняла вдруг Мария. — Ушел навсегда. Улетел. Может быть, даже умер... Раз он не разбил окно, не хлопнул дверью... Это конец. Конец всему, что было...»

Она прислонилась к дереву и тихонько заплакала.

Но то ли слезы были легкими, то ли ветер их сушил, но глаза плакали-плакали, а щеки оставались сухими.

Это были явно чужие слова, и пришли они не из огненных глубин сознания, а откуда-то извне, изда-лека:

«Дыхание твое — нежный запах дыни и молока.

Песчаные многокилометровые отмели, пушок на щеке персика — вот на что похоже прикосновение к твоей коже, Мария.

Легкие перья облаков — волосы. Нет в мире большего наслаждения, чем перебирать и гладить их.

Руки твои — два теплых течения,

...теплых... теплых... теплых...»

Если бы Стромболи не знал, что разумные стихии не умеют мысленно разговаривать на больших расстояниях, он бы поклялся: эти слова, эти «вопли влюбленного мальчишки» принадлежат его ветреному другу. Впрочем, кто знает. Может, он научился общаться без контакта аур?!

Пойманные Стромболи сигналы были очень слабые, тающие в пространстве как эхо.

И старик вулкан забеспокоился.

Он загрохотал и задымил, не ожидая очередного выброса, выплеснул в сердцах через разрушенный северо-западный борт кратера изрядную порцию лавы.

Стромболи не знал, что значат эти слова-сигналы, что они пророчат: самую страшную беду из всех возможных или встречу с другом, который еще далеко, но который спешит, и мысль его прожигает пространство.

Мария уже не загорала, а просто лежала на берегу, не имея сил лишний раз подняться и окунуться в море. Солнце плавало ее тело, дурманом вливалось в жилы. Еще немного — и закипит кровь, задымится шоколадная кожа, вспыхнут волосы...

— Присматривай за мальчиком, — распорядилась она, не открывая глаз.

В красном сумраке, которым сквозь плотно сомкнутые веки наполнило ее солнце, возникли какие-то невнятные, бессвязные слова — бу-бу-бу. Пробились извне — и пропали. Это голос Рафа. Он, по-видимому, ехидно спрашивает: кто же, мол, всегда и во всем опекает сына, если не я.

Нет, какой он все-таки нудный!

Сын родился в год, когда она нашла клад — так говорят в их семье. В том же году она купила домик у моря — тот самый, который снимала летом. В том же году бросила работу в школе. В том же году, если это имеет значение, вышла замуж...

Мария вздохнула, сладко потянулась.

Как давно все это было... Правду говорил древний мудрец: когда человек пребывает в безмятежности — время для него как бы останавливается. Прошло семь лет, а ей кажется — вечность.

Она открыла глаза.

Рядом, в тени зонтика, лежал Маленький Рафаэль и читал еженедельник — вечно он таскает на пляж газеты. В год, когда она нашла клад, он навсегда оставил баловство с самолетами. Мария знала: у него в то лето случилась какая-то поломка или авария, но чувствовала, что об этом говорить нельзя, и не интересовалась подробностями. За эти годы Раф стал модным промышленным дизайнером, оброс жирком и рыжими курчавыми волосами.

— Мама, постереги мои ракушки! — мокрый и холодный бесенок на миг принял к ней и вновь убежал.

И в кого только он?

Худой, неугомонный, ни минутки не полежит, не позагорает... То с ребятами гоняет вдоль берега, то часами ныряет и балуется в воде, и тогда Мария тревожно вглядывается в сумятицу волн и человеческих тел: видна ли родная черноволосая головка.

С моря прилетел ветер, остудил обожженное солнцем тело. Если так будет задувать, море после полудня начнет штормить и только самые смелые будут прыгать среди волн.

Когда шторм, когда крепнет ветер и у берега, круто вырастая на пологом дне, начинают вздыматься бурые водяные валы, Марии всегда становится не по себе.

В той вечности, которая измеряется семью годами, было много необыкновенного, даже странного.

Мария давно и решительно выбросила все из памяти. Только один полусон-полуявь она не в силах прогнать: вид штормового моря с высоты птичьего полета. А еще глубже, в звездном колодце ночи, видится ей какое-то огромное пространство, заполненное лунным светом и

сиянием моря, и кажется, что вернулось детство, когда она умела летать и когда так сладко замирало сердце...

— Мама, пойдем купаться, — вырывает ее из какого-то оцепенения детский голосок.

Она встает и идет к воде — бездумно, автоматически. На ум приходит давняя шутка о лунатиках, которая некогда так взбесила Рафаэля. Мария улыбается: все мы немного лунатики... И слава богу, что привычное течение жизни почти не оставляет нам времени на размышления. Мысль уходит далеко, а истина всегда ближе. Это то, что ты имеешь...

— Мама, смотри, я ловлю ветер!

Голос сына — звонкий, горячий — заставляет Марию вздрогнуть. Перед глазами стремительное мельканье загорелых ножек, брызги, блеск солнца в них, от которого наворачиваются слезы.

— Мама, он что-то говорит... Он зовет меня. Ты слышишь, мама?!

СНАЧАЛА ОН ПОСТРОИЛ ГЛАВНУЮ БАШНЮ — ДОНЖОН — И ПОДНЯЛ ЕЕ НА НЕВИДАННУЮ ВЫСОТУ.

ЗАТЕМ В ОДНО МГНОВЕНИЕ ВОЗВЕЛ МОЩНЫЕ СТЕНЫ И ПРОРЕЗАЛ В НИХ БОЙНИЦЫ — ДЛЯ КРАСОТЫ, КОНЕЧНО.

ПО УГЛАМ ОН ПОСАДИЛ ТРИ БАШНИ ПОНИЖЕ. ИЗ ТОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА — БЕЛОГО, СВЕРКАЮЩЕГО НА СОЛНЦЕ, КАК САХАР.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ХЛОПОТ БЫЛО С ДОМОМ.

ОН СДЕЛАЛ ЕГО ПРОСТОРНЫМ, С ВЫСОКИМИ СТРЕЛЬЧАТЫМИ ОКНАМИ, ОТКРЫТОЙ ГАЛЕРЕЕЙ И ТЕРРАСОЙ. ГОТИЧЕСКУЮ КРЫШУ УКРАСИЛ ВЫСОКИМ ХРУПКИМ ШПИЛЕМ, КОТОРЫЙ ПРИШЛОСЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.

ОТКРЫТОСТЬ И НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ДОМА НЕ СОЧЕТАЛИСЬ С ОГРОМНЫМИ БАШНЯМИ И ТОЛ-

СТЫМИ СТЕНАМИ, НО ЕМУ ВСЕ ЭТО ОЧЁНЬ ПРАВИЛОСЬ. ПОХОЖИЙ ЗАМОК ОН ВИДЕЛ В ПЯТНАДЦАТОМ ИЛИ ТРИНАДЦАТОМ ВЕКЕ, КОГДА БЫЛ МАЛЫШОМ И НОСИЛСЯ ПО СВЕТУ В ПОИСКАХ РАДОСТЕЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ЗАМОК ТОТ СТРОИЛИ, ПОМНИТСЯ, В ШВЕЙЦАРИИ, ДАЛЕКО ОТ КАМЕНОЛОМНИ. РАБОТЫ ВЕЛИСЬ МЕДЛЕННО — КАМЕНЬ ДОСТАВЛЯЛИ ВСЕГО ЛИШЬ НА ДВУХ ИЛИ ТРЕХ ПОВОЗКАХ. ЕМУ НАДОЕЛО НАБЛЮДАТЬ, КАК ВОЗЯТСЯ ЛЮДИ НА СТРОЙКЕ — НЕСТЕРПИМО МЕДЛЕННО, БУДТО СОННЫЕ МУХИ. ВЫБРАВ КАК-ТО ДЕНЬ, ОН, ИГРАЮЧИ, НАНОСИЛ СТРОИТЕЛЯМ ЦЕЛЮЮ ГОРЫ ИЗВЕСТНЯКА И ГРАНИТА...

— ТЫ ЗАБЫЛ О ВОРОТАХ,— НАПОМНИЛА ОНА.

ОН ТУТ ЖЕ ПРОРУБИЛ В СТЕНЕ АРКООБРАЗНЫЙ ПРОЕМ, А СТВОРКИ ВОРОТ СДЕЛАЛ КРУЖЕВНЫМИ.

ЗАКОНЧИВ ГРУБУЮ РАБОТУ, ОН ВЕРНУЛСЯ К ДОМУ И УКРАСИЛ ЕГО ГОРЕЛЬЕФАМИ И АНТИЧНЫМИ СКУЛЬПТУРАМИ. ЗАТЕМ БРОСИЛ НА СТЕНЫ И АРКАДУ ГАЛЕРЕИ ЗАМЫСЛОВАТУЮ ВЯЗЬ ОРНАМЕНТА. В СТРЕЛЬЧАТЫХ ОКНАХ ОН УСТРОИЛ ВИТРАЖИ.

ДЕЛО БЫЛО СДЕЛАНО.

ОНО СТОИЛО ПОХВАЛЫ, И ОН ТЕРПЕЛИВО ЖДАЛ ЕЕ.

— НО ВЕДЬ Я НЕ БУДУ ЖИТЬ В ТВОЕМ ЗАМКЕ,— СКАЗАЛА ОНА.

ТОГДА ОДНИМ СОКРУШИТЕЛЬНЫМ УДАРОМ ОН МОЛЧА РАЗРУШИЛ ВСЕ, ЧТО СОЗДАЛ.

СТЕНЫ РУХНУЛИ. БАШНИ РАССЫПАЛИСЬ. ДОМ ПРОВАЛИЛСЯ, ПОГРЕБАЯ В РАЗВАЛИНАХ ОТКРЫТУЮ ГАЛЕРЕЮ, СТРЕЛЬЧАТЫЕ ОКНА И ВЫСОКИЕ СВОДЫ. БЕЗЗВУЧНО РАЗБИЛИСЬ ВСЕ ВИТРАЖИ, А ОТ АНТИЧНЫХ СКУЛЬПТУР НЕ ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА.

ОН УНИЧТОЖИЛ ДАЖЕ РАЗВАЛИНЫ. ДО ОС-
НОВАНИЯ.

ЗАТЕМ РАЗДУЛ, РАЗМЕТАЛ И САМО ОСНОВА-
НИЕ — БЕЛЫЕ КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА.

НЕБО ВНОВЬ СТАЛО ПЕРВОЗДАННО ЧИСТЫМ,
ВЫСОКИМ И ХОЛОДНЫМ.

НЕСЧАСТНЫЕ!

ОНИ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ВСЕ В ЭТОМ МИРЕ ПО-
ВТОРИТСЯ, НО НИКТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НА ЭТУ
ЗЕМЛЮ НИКОГДА НЕ ПРИДЕТ.

ПОВЕСТЬ О ТРЕХ ИСКУШЕНИЯХ

ПЕПЕЛ И ЗВЕЗДЫ

Он спешил. У него было видимо-невидимо дел в этом уголке Вселенной, дел трудных и ответственных, и потому он попросил Корабль лишний раз не беспокоить его. Тем более что среди встречных миров только на одной из планет — Земле — существовала разумная жизнь, да и то робкая, слишком молодая. Прогнозам своих коллег умудренный опытом Патрульный «Великого Кольца» мог верить или не верить, но одно он знал точно! людям предстоит еще долго взростеть, чтобы Кольцо могло начать с ними диалог.

И все же Корабль позвал его в окрестностях именно этой голубенькой планеты.

— Что еще? — спросил Патрульный. — Что еще осталось под звездами непонятного или непосильного для тебя, мой друг?

— Я получил интересное сообщение нашего автоматического наблюдателя, — ответил Корабль. — Он докладывает: один из аборигенов поднялся в мыслях своих до понимания сокровенных тайн мироздания. За это главенствующая в стране группа религиозных фанатиков собирается уничтожить философа, убить его. Наверное, стоит вмешаться...

«Вмешательство... — подумал с тревогой Патрульный. — Мы очень редко прибегаем к этому. Только в тех ситуациях, когда «поправку» требует объективная историческая необходимость. Тот ли это случай, тот ли? А с

другой стороны... Спасти искорку разума очень заманчиво. Ветры истории могут раздуть ее в большое пламя. И тогда оно согреет этих несчастных...»

— Будь добр,— обратился он к Кораблю.— Раз уж ты затеял спасательную экспедицию, то постарайся совершить посадку поближе к месту действия. И так, чтобы нас никто не видел.

— Будет выполнено.

— И еще, мой друг. Подготовь мне алгоритм их языка и характеристику данной эпохи. Пожалуй, все.

Патрульный встал, подошел к экрану дальнего видения. Горошина планеты быстро приближалась, наливалась синевой.

— Старею я, становлюсь забывчивым,— сказал печально он.— Изготовь мне еще и их одежду. На всякий случай.

...За бортом темная вода, ритмичные всплески весел. Рядом, под рукой, пляшет и пляшет в фонаре крошечный язычок пламени. Его тусклые отблески ложатся то на сутулую спину гребца, то падают в сумятицу мелких волн, и жизнь света тогда ненадолго продолжается — в холодной воде гаснут желтые искры.

Откуда-то из лабиринта переулков примчался порыв сырого, пронизывающего буквально до костей, ветра, и Патрульный поплотнее закутался в свой плащ. Он не удивлялся тоскливой тишине, которая таилась по обоим берегам канала. Вот уже несколько дней в Венеции хозяйничала дождливая и капризная весна, и город по этой причине укладывался спать пораньше.

Лодка вдруг резко повернула к берегу, остановилась.

— Это здесь, синьор,— сказал гондольер и выжидательно посмотрел на своего пассажира. Тот бросил ему

несколько монет и быстро, будто призрак, растаял в густых сумерках.

Чотто еще не спал, когда в дверь властно и нетерпеливо постучали. Он открыл и несколько мгновений озадаченно стоял перед незнакомцем, который пришел к нему из сырой и тревожной ночи, разглядывал его. Строгое, с выразительными чертами лицо гостя понравилось книготорговцу, но от этого неожиданная боязнь в душе не растаяла. Напротив — колючий комок какого-то необъяснимого мистического страха шевельнулся вдруг под сердцем, и Чотто отступил в дом, невольно приглашая незнакомца следовать за собой.

Поздний гость прошел в комнату и, старательно выговаривая слова, сдержанно поздоровался. Потом, быстро заглянув в глаза Джамбаттисто, скорее приказал, чем попросил:

— Мне нужны все книги Еретики!

У Чотто вдруг перехватило дыхание. Он пошатнулся от неожиданности, но взгляд незнакомца требовал ответа, даже не ответа, а немедленного действия, и Джамбаттисто лихорадочно пытался отыскать начало спасительной мысли.

«Я все, все рассказал святой инквизиции. Да, впервые мы встретились с ноланцем во Франкфурте на осенней ярмарке... Он ничего не говорил, что бросало бы тень на него как на доброго католика... Те несколько насмешливых фраз? Нет, их мог подслушать только дьявол. Святая служба знает свое, я — свое. Книги я уничтожил, как повелевалось. Кстати, что за чудные книги! Прочитав их, я ходил будто хмельной. Оказывается, нет предела пространству, не счесть миры в небесах, а там, среди звезд, тоже люди живут... Неужели это новая проверка? Тайник? Неужели инквизиторы все же что-то пронюхали?»

— Их страницы уже прочло пламя. Так было велено поступить с писаниями Еретики из Нолы, — наконец

довольно твердо ответил Чотто, но незнакомец на эти речи только улыбнулся.

— Я вижу, что творится в твоей душе. Я мог бы тебе все объяснить, но меня торопит время. Пойми, и ты найдешь то, что меня интересует. Поторопись...

Это были обычные слова, которые мог бы сказать любой агент святой службы, но Чотто вдруг обожгла безумная догадка: «Он чем-то похож на Христа... Нет, о чем это я. Он скорее похож на дьявола! Этот взгляд... Я его не вынесу!..»

Он долго и громко стучал, забыв с перепугу, как открывается тайник. Наконец торопливо, будто ему жгло руки, положил на стол несколько томиков в темных обложках.

— Это все, что у меня есть... синьор.

Хозяин книжной лавки вдруг успокоился. Так же быстро, как испугался десять минут назад. Он почему-то подумал, что, кто бы он ни был, этот поздний гость, бояться его не нужно. Джамбаттисто не знал, откуда эта уверенность, но уже мог поспорить с кем угодно, что незнакомец никакого отношения к аресту Еретика не имеет. Тем более — к нему, обыкновенному свидетелю, который так и не смог на допросе порадовать суровых инквизиторов. Что поделаешь, память... Не может же он помнить все слова философа...

Патрульный Кольца кивнул, прощаясь, и пошел к двери. Затем, наверное, вспомнив один из обычаев этого мира, вернулся и положил что-то на стол. Чотто не видел и не слышал, как и когда ушел странный гость. Ошеломленный и ослепленный невиданным сиянием, он тупо смотрел на шесть крупных бриллиантов, которые раскатились среди жалких остатков его ужина.

— Каждый из них стоит, стоит... — лихорадочно бормотал книготорговец, ощупывая драгоценные камушки. — Здесь больше денег, чем в казне святой службы...

Джамбаттисто упал на колени и начал усердно молиться за жизнь чудаковатого ноланца и за его приятеля или почитателя, которого послал в его бедную лавку сам бог или дьявол — все равно.

Патрульный шел тесным переулком. Оглянувшись на дом книготорговца, он с удовлетворением подумал, что этот Чотто все же обманул святых инквизиторов и что он определенно знает книги философа наизусть. Просто хитер торговец и осторожен предельно.

В конце переулка Патрульный поскользнулся. Одна из книг упала в грязь. Он поднял ее, осторожно вытер полый плаща. Из-за косматых туч как раз выглянул сонный глаз луны, и Патрульный прочел название трактата. На обложке значилось: «О бесконечности Вселенной и мирах»...

По местному летосчислению наступило 17 февраля года 1600. Уже началось утро, когда процессия с Еретиком вышла из переулка Лучников на Кампо ди Фьори, площадь Цветов. Еретик не обращал внимания ни на огромную толпу, что уже собралась там, ни на зловещие факелы в руках откормленных монахов. Он ступал твердо, пытаясь во что бы то ни стало донести измученное тело до места казни. Он не вздрогнул, только подобие улыбки искривило лицо, когда дружно заголосили колокола.

Сырые дрова разгорались плохо. Они сначала просочились рыжим дымом, но ветер немного раздул костер, и тогда двое служителей еще подбросили хвороста:

...Они заметили друг друга издали. Казалось, уже ничто в мире не сможет разбудить в Еретике никаких чувств, тем более его любопытства, однако то, что он увидел на площади, насторожило его. Кружилась от дыма голова, нетерпеливая душа уже прощалась с телом, а он с каким-то непонятным ощущением тревоги

жадно глядел на незнакомца, который быстро приближался к месту казни. «Что за одежда на нем? Странная,— подумал Еретик.— Люди уступают ему дорогу, но спроси их — почему? — и они не будут знать, что ответить...»

Патрульный стремительно шел сквозь толпу и видел лишь одно — смертельно усталые глаза гордого ноланца. Зеваки расступались перед ним, но он не обращал на это внимания: глаза Еретика жили высоко над толпой, и он был вынужден смотреть только вверх. Патрульный остановился и, заметив в этих глазах удивление, сделал успокоительный жест.

«Постарайся понять меня, человек,— мысленно обратился он к философу, и Еретик встрепенулся, будто его коснулся язык пламени.— Твой рот замкнут щипцами, но ведь именно ты допускал в своих трудах возможность непосредственных психических контактов, мысленного разговора. Слушай же меня. Успокойся и постарайся все понять».

«Кто ты?» — пронзила мозг Патрульного ответная мысль, скорей похожая на крик.

«Ты предвидел мое существование в своих книгах, когда писал об иных населенных мирах, о жизни среди звезд. Как я попал к вам? Это долго объяснять, а у нас так мало времени. Огонь все взрослеет. Слушай меня внимательно. Твой разум, ты сам необходимы этой планете, этой эпохе. Стало быть, я спасу тебе жизнь...»

«Я предвидел... Тогда ты, конечно, не бог, которого я всю жизнь так или иначе отрицал. Дым слепит глаза. Не разговариваю ли я сам с собой, безумный?»

Еретик задышался. Он раскрыл глаза и, убедившись, что незнакомец не исчез, будто привидение, закричал всем своим существом:

— Жить!

Слово это своим прекрасным смыслом воскресило в памяти муки сегодняшней ночи, последней ночи в каме-

ре: «Жить... Хоть бы еще раз увидеть среди бездонного неба громаду Везувия. Там осталась страна детства. Еще раз выпить из кувшина несколько глотков холодной и терпкой аспирини, и чтоб над головой сияли свечи каштанов...»

Опаляющее дыхание огня коснулось Еретика, и внезапная пронзительная боль отбросила жгучие видения. «Очищение огнем? Или просто сработал выверенный, как механизм, мозг?» — мелькнула насмешливая мысль, и уже равнодушно он поинтересовался:

«Как ты это сделаешь?»

«Стоит лишь небольшим усилием воли усыпить толпу. Все остальное не представляет большого труда», — ответил Патрульный и сделал шаг к костру.

Его остановил взгляд Еретика: осмысленный, мудрый и одновременно печальный.

«Не надо, чужеземец. Это будет только новое чудо, новая радость церковникам. Они сразу же начнут утверждать, что меня спас сам дьявол. Спасение получится сверхъестественным, а для меня это неприемлемо».

Он говорил что-то еще, но, пораженный отказом, Патрульный уже только подсознательно фиксировал мысли землянина.

«Их и так было слишком много — чудес, выдуманных церковниками. Я прошел свой путь, и это его логический конец. Я всегда предвидел, что дело кончится костром. Помнишь, я писал в своей книге...»

Пламя вдруг выплеснулось высоко и сильно. Патрульный, казалось, почувствовал, как острый всплеск чужой боли пронзил и его тело, затуманил сознание. Толпа заволновалась, стала тесниться поближе к костру. Кто-то пронзительно закричал:

— Огня, еще огня!..

«Что же это делается?! — гневно подумал Патрульный. — Что за страшный и алогичный мир? Нет, я все же наведу здесь порядок...»

Он напряг волю, чтобы одним ударом парализовать

ограниченную психику людей, бросить их в глубокий сон. И опять в последнее мгновение его остановила вспышка мысли философа: «Пусть будет так! Ибо им нужна жертва. Именно жертва, а не чудо. И если потом хотя бы один из этой бесноватой толпы задумается: «А за что все-таки сожгли Еретика из Нолы?» — уже это станет моей победой. А ты... Ты прости меня, чужеземец...»

Порыв ветра швырнул пламя вверх, сорвал с головы Еретика колпак шута. Огонь, казалось, взметнулся к самому небу.

За город Патрульный отправился пешком. Он шел, а ветер этой непонятной планеты успокаивал его, ласкал лицо, нашептывал: «Да, они сейчас убоги и темны. Но зато они молоды духом, революционным духом». Он так ни разу и не оглянулся на Рим, не глянул ни на одну из красот Вечного города.

В кабине Корабля Патрульный долго размышлял, листал книги земного философа. Потом наконец сформулировал мучившую его мысль и несколько раз повторил ее про себя, как бы испытывая на прочность: «Увы, у каждого мира своя логика. И чего стоит в данном случае наш галактический рационализм? Чего он стоит в сравнении с самопожертвованием Еретика, его мудростью?»

Патрульный достал из складок одежды кристалл видеофонозаписи казни Еретика, бережно положил его на пульт и проворчал, обращаясь к Кораблю:

— Сохрани. Пусть посмотрят потом будущие Патрульные на последних циклах учебы... Пусть узнают...

Перед тем как включить двигатели Корабля, он еще раз взглянул на корявые деревца по-весеннему голый опушки, на кристалл видеофонозаписи и невольно вздрогнул — ему показалось, что преломленный луч солнца вспыхнул в кристалле буйным всепоглощающим огнем.

«И пришел к тебе бог Солнца, и дал в жены дочь свою, а за что — тебе, раб недостойный, никогда не понять...»

Озорной лучик проколол желтизну листьев, коснулся лица. На ветвях, заглядывающих в распахнутое окно, светились другие лучики-паутинки. Они сонно двигались по саду, залетали в комнату. Да, седеет лето... Бартошин любил эту старую грушу. Что за сорт! В самом деле красавица — «лесная красавица». Плоды огромные, сочные... В ту далекую осень они, студенты, отъедались после войны хлебом и грушами. Хлеба понемножку, а груш — сколько душа желает — душистых, слаще меда. Наверно, потому губы Марии были такими сладкими. Слаще меда... А в самом деле — за что? За что бог Солнца дал ему, демобилизованному лопухому сержанту, Марию?·

Иван Никитич опять повторил в памяти шутливую молитву, которую с надрывом прочитал на их свадьбе Костя Линеv, и улыбнулся. Костя тоже приударял за Марией. Но пока Линеv носился с очередной идеей преобразования истории как науки, они в сентябре тихомирно поженились.

На свадьбе их было пятеро. С Кривого Рога приехала мать Марии, привезла два куска сала. С мировой скорбью на лице появился Костя, но, выпив полбутылки «Степных цветов», подобрел душой и даже сочинил молитву, смешав в ней все мифы и верования народов мира. Катя, подружка Марии, сидела тихая, как мышь, испуганно поглядывала то на его ордена и медали, то на Марию, что-то представляла себе — из «семейной жизни» — и тут же заливалась мучительной краской стыда. Теща была усталая с дороги, но в общем довольная выбором дочери и поэтому умиротворенная. Она подолгу снимала кожуру с картошки, а сала брала самые то-
ленькие кусочки. При этом ее корявые пальцы напряга-



лись. Спустя минуту-другую кусочек непонятно каким образом возвращался на тарелку обратно... Ближе к вечеру Катя вдруг пискнула «горько!». Он так охотно потянулся к Марии, что звякнули ордена. Катю опять бросило в жар, а мать заулыбалась. Губы жены таяли под его напористыми губами, и бывшего разведчика даже качнуло — поплыл под ногами затоптанный пол, сдвинулись стены старенького общежития...

Бартошин покачал головой: тридцать лет прошло с той осени, а не забылось, нет.

— Слушай, Мария, — сказал он, — а почему бог Солнца? Ну, Костя, помнишь тогда... Он тебя дочерью Солнца назвал.

— Какой еще Костя? — удивилась жена.

— Когда женились. На свадьбе.

— А ты и забыл?!

В голосе жены прозвучала укоризна, а глаза наоборот — заулыбались.

— Я же не всегда такая была. Понял?

— К чему это ты?

Она подошла, сняла косынку.

— Золотая ты моя, — прошептал Иван Никитич, глядя на седые волосы жены. Как он мог забыть?! Конечно же, дочь Солнца, золотоголовая Мария, которой в пятидесятые годы любовался весь их пединститут. У Марии-младшей, родившейся в пятьдесят третьем, волосы пошли в него — русые. Мария шутила тогда: «Ты мне всю породу испортил».

Он виновато привлек жену к себе.

Как быстро ушла молодость! И как безжалостно обирает она людей, уходя от них. Цвет волос и блеск глаз, тайную прохладу кожи и упругость губ... Все забирает. Все дары свои. Справедливо ли это? Иван Никитич вздохнул. Может, и справедливо. Потому что осень жизни приносит свои дары. Прежде всего — ясность ума и понимание, что суета есть суета, как ее ни назови.

Хлопнула калитка. На пороге веранды мелькнуло цветастое платье Мироновны.

Соседка зашла к Бартошиным как бы денег занять. На самом деле хотелось, конечно, другого. Посмотреть. На двор, на дом соседский, на Никитича, на Марию его. Странная она... Всю жизнь возле швейной машинки просидела, а туда же — гордая. Слова лишнего не вытянешь. Ну да ладно, я и сама все увижу. Главное — надо узнать, что с прошлой пятницы изменилось. Жизнь — то вытекает. Как вода из дырявой бочки. А там и дно. А на дне всегда самое интересное...

Мироновна вошла в комнату и сразу же сфотографировала глазами лица соседей. Не завелась ли, не дай

бог, в доме какая напасть? Она сперва всегда на лице поселяется. Напастей Мироновна знала за человеком тьму, они за ним — говорила — вместе с тенью ходят. Особенно за выпившими мужиками. Правда, Никитич не пьет, но это ровным счетом ничего не значит. Сегодня в рот не берет, а завтра, смотри, уже запойный.

— Разведданные доставила? — улыбнулся Бартошин, кивая соседке. Он любил при случае вернуть в разговор военное словечко.

— Так точно. Все при мне, — подтвердила Мироновна. — Квартирантка вчера в Москву ездила. По радио небось всего не расскажут.

И зашпешила, даже задрожала от напряжения, пропуская через себя жизнь, как турбина электростанции пропускает бешеный поток воды.

Поначалу Мироновна ничего нового не узнала. Затем Мария не удержалась, похвасталась:

— Виталий завтра приезжает. Первый отпуск.

Младший сын Бартошиных уже год работал судьей в Харькове — оставили после юридического. Виталий собирался жениться и в письме сообщил, что приедет с Полиной, невестой, чтобы познакомить с родителями. Об этом Мария соседке все-таки не сказала.

— Радость-то какая, — всполошилась Мироновна. — Приготовиться вам надо, скупиться. Раз такое дело — у других попрошу.

— А чего хотела попросить? — на свою голову спросил Иван Никитич.

— Нет, нет! Теперь не надо, — засобиравлась соседка. — Рублей тридцать думала перехватить. Квартирантка сапоги из Москвы привезла, югославские. Ей, оказывается жмут, а мне в самый раз.

— Найдется у нас, Мироновна, не уходи. — Мария пошла в соседнюю комнату за деньгами.

Иван Никитич вдруг безо всякой видимой причины погрустнел. А тут и жена на пороге. В глазах недоумение:

— Ваня, ты деньги брал?

Мироновна насторожилась.

— Брал,— сказал Бартошин и достал из-за шкафа аккуратный желтый чемоданчик.— Вот, купил.

— Там только семь рублей осталось,— напонила жена.— За один чемоданчик — сто рублей?

— Сто тридцать пять,— уточнил Иван Никитич.— Это телескоп, Мария. «Алькор» называется. Помнишь, я хотел купить, еще когда Виталий в школу ходил...

— Господи,— прошептала Мироновна, предчувствуя скандал.— Такие деньги!

Мария глянула в ее сторону, понимающе улыбнулась.

— В сентябре звезды близкие,— объяснил смущенно Иван Никитич.

— Телескоп, говоришь.— Мария открыла чемоданчик, потрогала приборы. Потом глянула на соседку, засмеялась.— Ничего, до пенсии доживем.— И пояснила Мироновне: — Если человеку в радость, чего ж не купить? Мы и микроскоп купим... Если в радость.

Скучно стало Мироновне. Шла домой и жалела, жалела соседей. Как слепые живут: повернутся к солнцу лицом и улыбаются. Они думают, что без тени живут. Друг на друга дышат. А чего дышать-то? Ведь тень — она всех догонит. И накроет, когда надо. Это в молодости ее не видишь, не замечаешь. А потом и не хочешь — обрастаешь, обрастаешь тенью.

— Вон то сорви, на верхушке,— попросила Мария.

Бартошин поднял палку, подвел рогачик под черенок, повернул. Яблоко глухо стукнулось о землю. Мария подобрала его, вытерла, положила в корзину. Паданку, считал Иван Никитич, к столу не подают.

— Напомни, пожалуйста: вечером надо мясо сварить.

Жена стояла против солнца, выпрямившись, опустив перемазанные помидорной ботвой руки. Бартошину ста-

ло совестно. Телескоп десять лет ждал, мог еще месяц-другой подождать. Надо было кофту Марии купить. Мохеровую. Скоро осень — задождит, задует, поясница опять начнет донимать...

— Почему вечером? — невпопад спросил он.

— Вареников налепим, — сказала Мария. — Или за-был уже, как вы с Виталиком заказывали: «Мамочка, в воскресенье... Мамочка, только не с сыром»...

Бартошин собрался рассказать, как они раз сами, мужички, лепили вареники с капустой. Мария тогда в больнице лежала. Налепили они с Виталиком, а вареники разварились, получились ши... Открыл Иван Никитич рот, да так и застыл, потому что в небе что-то затрещало — так рвется материя — и в помидорные кусты, чуть не сбив Марию, рухнул человек.

Мария испуганно отступила.

Человек в комбинезоне не мог освободиться от чего-то большого и белого.

«Парашют или дельтаплан», — со знанием дела отметил про себя Бартошин и поспешил к незнакомцу. Помог ему выбраться из лямок, — поддержал, когда тот, останавливаясь, стал выпрямляться.

— У вас лицо в крови! — охнула Мария.

— Это помидоры... — сказал человек и улыбнулся, пряча боль: — Весь огород вам порушил.

— Да нет же — кровь, — встревожилась Мария. — Идемте быстрее в дом.

Иван Никитич подал раненому воды, а когда тот умылся, прижег ему ссадины йодом. На самую глубокую, возле брови, пришлось положить тампон, прижав его полоской лейкопластыря.

— Соревнования? — поинтересовался Бартошин, кивнув в сторону амуниции гостя.

— Нет. — Раненый помедлил с ответом — он внимательно разглядывал бывшего учителя. — Скорее экспериментальный полет. С научной целью.

Теперь Иван Никитич понял, что громадные белые

лепестки, которые Мария положила у порога, не что иное, как крылья. Грязные, в земле и ботве, великолепные крылья.

— Простирни,— попросил Иван Никитич жену и спросил у незнакомца: — Если, конечно, можно?

— Можно,— кивнул тот,— если Марию Васильевну не затруднит.

«Откуда он знает имя-отчество жены?» — удивился Бартошин, но виду не подал.

— Лучше с мылом,— добавил незнакомец.— Без порошка. У вас очень едкие порошки, а там органика.

Это «вас», которое Мария не заметила, кольнуло слух Бартошина как знак какого-то отмежевания. Что хотел сказать этим гость? Что он, из Москвы? Так они сами, считай, в черте города живут. Да и не похож он на пижона.

— Все равно,— сказал незнакомец как бы самому себе.— Все равно придется вмешаться в вашу память. Крылья, факт падения, облик... Все это придется стереть. Поэтому будем откровенны. Я, собственно, не человек.

Иван Никитич нахмурился.

— Зачем вы нас морочите? — Он покачал головой.— Мы пожилые люди, но кое в чем разбираемся. Я в прошлом педагог...

— Иван Никитич,— перебил его странный гость.— Вы не пожилые, вы — золотые люди. И в моих словах нет никакого обмана или розыгрыша. Я действительно сотрудник ГИДЗа в ранге Посланца.

Мария в недоумении выпрямилась — она по частям стирала крылья в большой миске.

— ГИДЗ — это Галактический институт Добра и Зла,— пояснил незнакомец.— Посланец — нечто вроде должности, я работаю в секторе активного добра. Разумеется, я не человек, это временная биоформа, однако сущность моя и моих собратьев вполне материальна. Так что никакой мистики,

— Странно,— прошептал Бартошин.— Галактический институт, секторы... Может, вы читались фантастики?

— Да нет же,— досадливо сказал Посланец.— Просто вы мне понравились. Я пролистал вашу память — и вы понравились мне еще больше.

— Вы не шутите? — спросила Мария. С ее опущенных рук падали хлопья пены; от работы из-под косынки выбилась прядь седых волос.

— Ничуть,— твердо сказал Посланец и присел к столу. Теперь стало видно, что он ниже среднего роста, тщедушный. Рыжеватые волосы и ссадины на лице делали его похожим на упрямого, своенравного мальчишку.

— Я из-за вас упал.— Посланец потрогал подпухший нос.— Засмотрелся на ваши души, когда пролетал... Красивые они у вас! А крылья новые, не привыкли еще ко мне... Раз я из-за вас оказался на земле, то почему бы не наградить вас?

— Но ведь нам ничего не надо,— растерянно сказал Иван Никитич и посмотрел на жену.— Мы ничего не просили.

— Телескоп Ваня купил, Маша уже замужем, квартиру они получили...— Мария, поверив гостю, вслух перебирала то, что раньше было желанным.— Нет, кажется, все есть. Что еще надо?

— Угощайтесь яблоками,— предложил Бартошин.— Или грушами. А то у нас какие-то странные разговоры идут, а вы все-таки с дороги.

— Вы не поняли меня,— сказал Посланец и надкусил большую «лесную красавицу».— Я не сказочный джинн, который может отремонтировать квартиру или достать билеты в театр... Вы славные люди, поэтому я перну вам молодость. Только и всего.

— Что он такое говорит,— Мария рассмеялась, махнула рукой.— Я крылья во дворе развешу. Или не надо?

— Лучше не надо,— подтвердил Посланец.— Они сами впитают воду... А говорю я о том, Мария Васильев-

на, что вас с Иваном Никитичем до сих пор согревает чувство, которое объединило вас в далеком пятьдесят втором. Тот сентябрьский свет еще жив. Я видел его сегодня, когда заглядывал в ваши души... Помните?..

Посланец привстал и, вытянув руку над столом, точно-точно будто Костя Линеv, прочитал:

— И пришел к тебе бог Солнца, и дал в жены дочь свою, а за что...

— Не надо!..— голос Марии прервался.— Прошу вас! Зачем вы трогаете чужое?!

— Я хочу вернуть вам пятьдесят второй год,— ответил Посланец.— Вы красиво прожили жизнь и заслуживаете награды. Кожа обретет упругость, куда и одеваются морщины, а волосы вновь засияют золотом, как у настоящей дочери Солнца... Дети вас поймут. Единственное — надо будет переехать куда-нибудь. Чтобы не пугать людей и не вызвать кривотолков.

— Ты слышишь, Ваня?! — всхлипнула Мария.— Это похоже на сказку.

У Бартошина на миг поплыла под ногами земля. Оттуда, из тридцатилетнего далека, потянулась к нему золотоголовая первокурсница. Губы ее, пахнувшие вином и грушами, таяли под его напористыми губами, колючий орден, зацепившись за платье, вонзался в тело (он тогда не почувствовал, а Маша не сказала). И летела, летела в открытое окно паутина бабьего лета, застила глаза.

Иван Никитич даже зажмурился, чтобы не показать, что с ним происходит, хрипло напомнил:

— Завтра Виталий приезжает.

— Вот видите! — обрадовалась Мария.— Не с руки нам за молодостью гоняться.

— Дети, конечно, поймут,— заговорил тихо Бартошин.— Умом поймут. А сердцем вряд ли привыкнут. Родители-ровесники? Чудно это, непонятно. Природа во всем соответствие любит. Зачем же ее ломать?

Мария благодарно глянула на мужа, смахнула слезы.

— Видать, хорошии вы человек, хоть и существо не-земное,— сказала она Посланцу. Тот в знак согласия кивнул рыжей головой.— И верю я всему вами сказанному, потому что, когда крылья стирала, поняла: живые они, теплые. Но вот подарка вашего, хоть он и царский, не хочу.

Мария замолчала, отвернувшись к окну. В саду уже погас свет дня.

— Оставьте нам наш сентябрь,— сказала она.— Вы, может, не поймете, но в нем тоже есть радости.

— Вон уже одна спешит — радость-то,— забеспокоился Иван Никитич, увидев на улице Мироновну.— Не повремя как.

— Я вас охраню,— сказал Посланец, не глядя в окно.— Она не войдет в дом.

Солнце село, но какой-то последний лучик запутался в траве, лег на тропинку и тут же стрельнул Мироновне в глаза — весело и желто.

Она наклонилась и ахнула: по утрамбованной тропинке катилось массивное золотое кольцо. Мироновна присела от страха — вдруг кто еще увидит! — и бросилась догонять неожиданную добычу. Кольцо прокатилось мимо дома Бартошиных и, подпрыгивая на неровностях почвы, помчалось еще быстрее. «Там же бурьяны! Пропадет!» — похолодела Мироновна. Она протянула руки и в отчаянном порыве бросилась наземь. Кольцо юркнуло в заросли лопухов и крапивы, засветилось там, заиграло. Мироновна оглянулась по сторонам и решительно ступила в крапиву...

— Может, переночуете у нас? — спросил Иван Никитич гостя.— Завтра дети приедут, накроем стол. Будем и вам рады.

— Надо спешить,— покачал головой Посланец. Он взял свои крылья, осмотрел их, легко проскользнул в чямки.

— Проводите меня в сад,— попросил.— И не обижайтесь, пожалуйста. Я хотел как лучше.

— За что обижаться? — удивилась Мария. — Это мы вам все планы нарушили. Теперь, чего доброго, отругают вас в институте...

Они вышли в сад.

— Отойдите немножко в сторону, — попросил их Посланец.

Они отошли. Крылья вдруг распрямились, зашелетели, замерцали в неверном свете первых звезд.

— Мне здесь долго жить, — сказал маленький рыжий пришелец. — Я буду помнить вас. Совет вам да любовь.

Крылья взмахнули, забились, загудели.

В следующий миг гость исчез. В темном небе над садом мелькнула и пропала тень.

Бартошины долго молча стояли, чувствуя, как собирается ночная прохлада. На окраине поселка простучала и стихла электричка. Взошла луна.

— Что же ты, Ваня, — улыбнулась Мария. — Деньги на телескоп потратил, а посмотреть не даешь. Вон какие звезды крупные.

— Пойдем в дом, — обрадовался Иван Никитич. — Я пока инструкцию почитаю да телескоп соберу, а ты мясо на вареники сварись.

Он бережно привлек жену к себе.

В лунном свете незнакомо и молодо серебрились ее волосы.

СЛЕДЫ НА МОКРОМ ПЕСКЕ

Ужимки продюсера начинали бесить.

— Нет! — резко сказал Рэй Дуглас. — Ваш вариант неприемлем... Нет, я не враг себе. Напротив, я берегу свою репутацию...

Голос продюсера обволакивал телефонную трубку, она стала вдруг скользкой как змея, и у писателя появилось желание швырнуть ее ко всем чертям.

— Речь идет о крохотном эпизоде, мистер Дуглас,— вкрадчиво нашептывала трубка.

— Представьте, что рассказ — это ребенок, так часто говорят,— он с грустью отметил, что раздражение губит метафору.— Эдакий славный крепыш лет пяти-шести. Все при нем — руки, ноги, он гармоничен. Данный эпизод — ручка, сжимающая в кулачке нить характера. Почему же я должен калечить собственного ребенка?..

Писатель вывел велосипед на дорожку, потрогал рычажок звонка. Тонкие прохладные звуки засверкали на давно не стриженных кустах, будто капельки росы.

— Пропадай тоска! — воскликнул он и, поддев педаль-стремя, вскочил на воображаемого коня.

Восторженно засвистел ветер. Спицы зарыбились и растворились в пространстве. Шины припали к земле.

Метров через триста Рэй сбавил темп — нет, не взлететь уже, не взлететь! А было же, было: он разогнался на лугу или с горы, что возле карьера, разогнался и закрывал глаза, и тело его невесомо взмывало вместе с велосипедом, и развевались волосы... Было!

Злость на продюсера прошла. Человек он неглупый, но крайне назойливый. Точнее, нудный. О силе разума он, может, и имеет какое-нибудь представление, но что он может знать о силе страсти?

Велосипед, будто лошадь, знающая путь домой, привез его к реке. Рэй часто гулял тут. Пологий берег, песок, мокрый и тяжелый, будто плохие воспоминания, неразговорчивая вода. Так было тут по утрам. Однако сегодня солнце, наверное, перепутало костюм — вместо октябрьского, подбитого туманами, паутиной и холодной росой, надело июльский — и река сияла от удовольствия, бормотала что-то ласковое и невразумительное. Чистые дали открылись по обоим ее берегам, и стал слышен звук падения листьев.

«А что я знаю о страсти? — подумал писатель.— Я

видел в ней только изначальную суть. Весь мир, человек, все живое, несомненно, проявления страсти. Что там говорить: сама жизнь как явление — это страсть природы. Но есть и обратная сторона медали... Я создаю воображаемые миры. Это, наверное, самая тонкая материя страсти. Но я, увы, сгораю. Какая нелепость — страсть, рождая одно, сжигает другое. Закон сохранения страсти...»

И еще он подумал, что, для того чтобы развеять тоску, было бы неплохо уехать. Куда-нибудь. В глухомань.

Он взглянул на небо.

Небо вздохнуло, и вдоль реки пролопотал быстрый дождик.

— Дуглас, — негромко окликнули его.

Писатель живо оглянулся.

Никого!

Берег пустынный, а лес далеко. Там подобралась хорошая компания вязов, дубков и кленов. В детстве он бегал туда за диким виноградом. Это была страсть ко всему недозрелому — кислым яблокам, зеленым пупырышкам земляники...

— Задержитесь на минутку, — попросил его все тот же голос. — Я сейчас войду в тело.

Рэй наконец заметил, что воздух шагах в десяти от него как-то странно колеблется и струится, будто там прямо на глазах рождался мираж.

В следующий миг раздался негромкий хлопок, и на берегу появился высокий незнакомец в чем-то черном и длинном, напоминающем плащ. Остро запахло озоном.

— Не жмет? — участливо поинтересовался Рэй Дуглас и улыбнулся. — Тело имею в виду.

— Извините, метр. Я неудачно выразился. Но это и самом деле мое тело. — Незнакомец шагнул к писателю и радостно воскликнул, воздев руки к небу: — Вот вы, оказывается, какой!

«Что это? — подумал Рэй Дуглас. — Монах, увлекающийся фантастикой? Или... Или я просто переутомил

ся. Я много и славно работал в сентябре. Да и октябрь был жарок. Неужели воображение разыгралось так буйно?»

— Успокойтесь, метр.— Незнакомец остановился.— Вы не больны. Я реален так же, как и вы. Извините за эти дерзкие слова; мне вовсе не пристало учить вас, как надо относиться к чуду. Что касается одежды, то это защитная накидка. У вас здесь очень высокий уровень радиоактивности. Дома меня ожидает тщательная дезактивация.

Писатель уже овладел собой.

— Откуда же вы? — спросил он, пристально разглядывая незнакомца.

— Издалека, — ответил тот. — Из две тысячи шестисот одиннадцатого года. Я президент Ассоциации любителей фантастики. Я прибыл за вами, метр. И еще хочу заметить — у нас очень мало времени.

— Польщен! — засмеялся Рэй Дуглас. — Встреча с читателями? Лекция? Я готов. — И удивился, покачав головой. — Две тысячи шестисот одиннадцатый... Неужели знают?

Теперь улыбнулся президент.

— Вас ждут во всех обитаемых мирах, — объяснил он, и бледное лицо его чуть-чуть порозовело. — Это такая удача, что мы можем вас спасти. Пойдемте, Дуглас. Вы проживете еще минимум восемьдесят-девять лет и напишете уйму замечательных книг. Только наш мир сможет дать вашему адскому воображению настоящую пищу. Вы будете перебрасывать солнца из одной руки в другую, словно печеную картошку.

— О чем вы? — сдавленным шепотом спросил писатель. — Уйти? Насовсем? Сейчас? Среди бела дня и в здравом уме?

— Вы уже не молоды, — мягко заметил посланник из будущего. — Вырастили детей, достигли зенита славы. Вы уже никому ничего не должны здесь. Если вам безразлично, что вас ожидают сотни миллиардов моих

соотечественников, то подумайте хоть раз о себе. Пойдемте, Дуглас. У нас осталось двадцать две минуты.

Воскресное утро, начавшееся для писателя с телефонной ссоры, вдруг окончательно потускнело, а растерянная мысль метнулась к дому: «Как же так? А Маргарет, дочери, внучата... Уйти — значит пропасть. Без вести. Значит, исчезнуть, сбежать, дезертировать. С другой стороны — дьявольски интересно. Ведь то, что приключилось со мной, — настоящее волшебство. Это вызов моей страсти, моему искусству и таланту. Им нужен маг. Вправе ли я отклонить вызов? И что будет, если я приму его? Ведь я — не что иное, как форма, которую более или менее удачно заполнил мир. Уже заполнил.

— Почему такая спешка? — недовольно спросил он. — Во всяком случае, я должен попрощаться с родными.

— Исключено! — Президент Ассоциации любителей фантастики развел руками, и на его лице отразилось искреннее сожаление. — Осталось двадцать минут.

— Но почему, почему?

— Время оказалось более сложной штукой, чем мы предполагали. Масса причинно-следственных связей, исторические тупики... Есть вообще запретные века. Там такие тонкие кружева, что мы боимся к ним даже при трагиваться. Поверьте, если бы существовала такая возможность, мы бы спасли все золотые умы всех веков и народов. Увы, за редким исключением, это невозможно.

— И я как раз — исключение, — хмуро заключил Рэй Дуглас.

— Да. И мы очень рады. Но временной туннель только один, и продержаться он может не более тридцати семи минут.

— Кого же вы уже спасли?

— Из близких вам по духу людей — Томаса Вулфа, — ответил президент Ассоциации и вздохнул. — Однако он вернулся. Сказалось несовершенство аппаратуры.

— Томас?! — воскликнул Рэй. — Чертовски хотелось бы с ним встретиться. Ах да, я забыл...

Писатель разволновался, схватил пришельца из будущего за руку.

— Теперь я понял, — пробормотал он, улыбаясь. — Я все понял. Последнее письмо Вулфа из Сиэтлского госпиталя, за месяц до смерти. Как там? Ах да... «Я совершил долгое путешествие и побывал в удивительной стране, и я очень близко видел черного человека (то есть вас)... Я чувствую себя так, как если бы сквозь широкое окно взглянул на жизнь, которую не знал никогда прежде...» Бедный Том! Ему, наверное, понравилось у вас.

— Метр! — взмолился человек в черной накидке. — Сейчас не время для шуток. Решайтесь же наконец. Четыре минуты.

— Нет, что вы, — Рэй Дуглас наклонился, подхватил велосипед за руль. Хитро улыбнулся. — Если бы я мог проститься, а так... Тайком... Ни за что!

— Мы любим вас, — сказал человек с бледным лицом и пошел туда, где воздух колебался и струился. — Вы пожалеете, Дуглас.

— Постойте! — окликнул его писатель. — Человек в самом деле слаб. Я не хочу жалеть! Обезбольте мою память, вы же, наверно, умеете такое. Уберите хотя бы ощущение реальности событий.

— Прощайте, метр, — пришелец коснулся своей горячей ладонью лба Рэя Дугласа и исчез.

Писатель тронул велосипедный звонок. Серебряные звуки раскатились в жухлой и редкой траве, будто капельки ртути. Рэй вздрогнул, оглянулся по сторонам.

«Что со мной было? Какая-то прострация. И голова побаливает. Я сегодня много думал о Вулфе. И, кажется, с кем-то разговаривал. Или показалось? На берегу же ни одной живой души. Но вот следы...»

На мокром песке в самом деле отчетливо виднелись две цепочки следов.

«Ладно, это не главное,— подумал писатель.— Вот сюжет о Вулфе хорош... Его забирают в будущее, за час до смерти... Там ему дают сто, двести лет жизни. Только пиши, только пой! Нет, это немыслимо, слишком щедро, он утонет в океане времени. Сжать! До предела, еще, еще... Месяц! Максимум два. Их хватило на все. Он летит на Марс. И он пишет, надиктовывает свою лучшую книгу. А потом возвращается в больницу, в могилу... Но чем объяснить его возвращение — необходимостью или желанием?.. Я напишу рассказ. Об искушении песней. Можно назвать его «Загадочное письмо». Или «Год ракеты»... Или еще так — «О скитаниях вечных и о Земле».

МЕСТО ДЛЯ ЖУРАВЛЯ

Алешин вышел из метро, заскочил в булочную и обрадовался: есть свежие рогалики. Он взял сразу восемь штук, чтобы дома тонко нарезать и на двух листах запечь в духовке целую гору золотистых сухарей. Нина Алексеевна, приходящая домработница, дважды в неделю готовила ему что-нибудь мясное. Кроме того, она регулярно набивала холодильник маслом, сыром, яйцами, ветчиной. Профессор Алешин любил завтракать и ужинать дома. Мог даже удивить гостя или гостью — весело и красиво накрыть стол.

О женитьбе и четырех годах суетной, все время как бы вдогонку жизни философ Алешин вспоминать не любил. После развода он ушел в науку, как в подполье.

Золотое лето кончалось: сентябрь приглашает в дом, а сердце, которое он уберег от всех искусов юга (лето Алешин провел в Крымской обсерватории), наоборот, начинает томиться.

Сквозь побитую желтизной листву в свете дальнего фонаря смутно проглядывали фигуры ребят, они частенько играли на гитаре возле подъезда. Сегодня рядом с ребятами философ увидел девушку: Она пела под гитару. Он остановился и прислушался.

Воображение, очарованное голосом, рисовало ее профессору таинственной и прекрасной.



«Подойти? — подумал Алешин. — Нет, неудобно. Я для них уже «предок».

Дома он не стал заниматься кухней. Бесцельно побродил по комнатам, посидел у письменного стола.

«Смешно! — Алешин поворошил страницы наполовину готовой монографии. — Многие годы занимаюсь космогонией и космологией. Меня волнуют глобальные, бесконечно высокие вопросы. Как и когда все возникло, как развивалось, из чего и по каким законам развился наш мир, Вселенная? Наконец, я верю и доказываю с математическими выкладками в руках: космос населен. Это значит, что я осознал одиночество нашей цивилизации в целом, что через меня реализуется тоска по общению

всего человечества, огромной совокупности индивидуумов. А с другой стороны — я сам одинок. Чисто по-человечески. И возвышенная тоска по общению на уровне миров пропадает, затмевается земной тоской по прекрасному, по женской руке, которая снимет все пустые боли...»

Чтоб не травить себе лишний раз душу, Алешин разделся и лег, с удовольствием ощущая всем телом свежесть постельного белья. Читать тоже не хотелось, и он выключил лампу. Комната сразу окунулась в ночь. На улице шел дождь. Ветер раскачивал фонарь возле котельной, и тусклые пятна света ходили по стенам, а то возвращались через открытую дверь на лоджию, где толклись тени мокрых тополей. Под одеялом было тепло и уютно. Алешин включил транзистор и улыбнулся: передавали знакомую мелодию в исполнении ансамбля «Каравели». Мелодия упруго пульсировала, рассыпалась будто бенгальский огонь. Слушая музыку, Алешин любил думать о женщинах. Не вообще, а о ком-нибудь из тех, кто был в его жизни и не оставил хлопот. Таких после развода было немного, без обязательств и сцен, и потому, наверное, запомнившихся. «Память тоже делает приемы,— пошутил однажды знакомый дипломат. Пошутил и прикрыл глаза, смеясь.— Ах, какое это великолепное зрелище, сударь! На этих приемах никогда не бывает случайных гостей».

Алешин тоже прикрыл глаза. А когда открыл, испуганно вздрогнул и подтянул одеяло под подбородок.

В проеме двери, что вела на лоджию, за голубоватой тюлевой занавеской, метавшейся на границе света и тени, стояла... нагая девушка. Будто сполох неведомого огня осветил комнату. Алешин увидел ее всю сразу — капли дождя на молодом теле, мокрые волосы, улыбку. Зажженные светом уличного фонаря, капли обтекали холмики груди, ползли по животу, пропадали вниз — на краю золотистой опушки.

Девушка была такая реальная, такая несчастная, замерзшая даже на вид, что Алешин тут же сорвался с кровати, не раздумывая, схватил махровое ванное полотенце. Он вытирал мокрое тело, тонкие руки незнакомки скорее не помогали, а пугали своими прикосновениями.

«Только не спрашивай! — приказывал сам себе Алешин. — Ни о чем не спрашивай. И не удивляйся. Прими это как подарок судьбы. Обыкновенное чудо».

Он набросил на девушку свой халат — она дрожала от холода. Не зная, как быть и что делать, Алешин посадил ночную гостью на кровать.

— Сейчас, минутку, — сказал он. Алешин вспомнил, что тем, кто сильно замерз, дают выпить. Он принес из комнаты бутылку коньяку, на ощупь, натыкаясь на вещи, так как боялся включить свет: вдруг это только сон, и все исчезнет.

Девушка взяла стакан, но тут же брезгливо отставила.

— Что же с тобой делать? — обескураженно пробормотал Алешин. — Укройся. Ложись и укройся. Ты же зачоченела вся.

Он закутал гостью в одеяло. Философ чувствовал — его тоже начинает бить озноб.

Замирая от собственной храбрости, Алешин обнял незнакомку, нашел во тьме ее губы. Девушка тихо вскрикнула, как бы обретя наконец голос. Он понимал, что ему надо бы узнать, как она очутилась здесь, но неистовое желание поцеловать вздрагивающие неумелые губы, раствориться, уйти без остатка в упругое, скованное то ли страхом, то ли холодом тело было сильнее его. Чувства его не подчинялись рассудку...

После пришли благодарность и растерянность.

«Я ее совсем не знаю! — ужаснулся Алешин. — Кто она? Откуда? Почему оказалась у меня на лоджии?»

— Как тебя зовут? — тихонько спросил он.

— Не знаю,— ответила девушка. Приподнявшись на локте, она с улыбкой разглядывала своего неожиданного возлюбленного.— Называй меня как хочешь. Как тебе нравится.

— Ага,— согласился Алешин, принимая предложенную ему игру.— Ты для меня божий дар, не меньше. Посему я так и буду тебя называть.

— Не надо «божий»,— серьезно попросила девушка.— Не звучит. Без смысла. Короче как-нибудь.

— Тогда Дар,— засмеялся Алешин.— Просто Дар. Небес, богов, чертей — все равно.

К нему на смену растерянности пришла веселая уверенность в том, что все будет хорошо, что с появлением... Дар все, буквально все образуется, что это и есть счастье. И все же, как она попала на лоджию?

У Алешина на миг защемило сердце — он боялся вопросов, потому что знал: ответы часто не совпадают с выдуманным нами или предугаданным, и тогда распадается связь явлений и всем становится плохо.

— Тебя нигде не ждут? — осторожно спросил он.— Уже поздно.

— Нет,— ответила Дар.— Не бойся за меня. Я здесь чужая. Условно говоря, приезжая.

— Условно? — переспросил удивленно Алешин.— Откуда же ты условно приехала?

— Ты не поймешь:— Девушка зевнула.— У нас другая система координат. В общем, я из ГИДЗа — Галактического института добра и зла.

— Ага,— Алешин засмеялся.— Добрая фея. Купалась в подпространстве и услышала вдруг, как одиноко одному из землян.

— Да, ты генерировал мощный поток дискомфорта,— как ни в чем не бывало согласилась Дар.— Жажда общения, застой в работе над монографией плюс обыкновенный сенсорный голод...

«Нахватались словечек...— саркастично подумал Але-

шин.— Даже о монографии знает. В самом деле, шестая глава что-то не клеится... Откуда только знает? Ну, что ж, игра так игра».

— И звездная девочка решила помочь? — Он ласково привлек Дар к себе. От пережитого, от странного разговора чуть-чуть кружилась голова.

— Я побуду несколько месяцев и помогу,— согласилась Дар,— Но не дольше второго декабря. И не целуй меня так часто — мне непривычны земные ласки.

— Я с ума сойду! — Алешин сел на край кровати,— Ты, девочка, невозможная фантазерка. Может, вернемся на землю? Хочешь, я расскажу о тебе? Зовут тебя, значит, Дар. Фамилия и отчество? Скажем так: Климова. Дар Сергеевна. Среднеспециальное образование. Скажем, библиотекарь. Приехала из Пскова или Воронежа. Похоже?

— Пусть будет так,— согласилась Дар и прикоснулась к нему легкой рукой.— Если тебе удобно, пусть будет так.

— Смешно! — покачал головой Алешин.— Послушать тебя, так все нарочно. Услышала, пришла... утешила. Все по заданию института?

Дар не заметила насмешки, ответила вполне серьезно:

— Нет, что ты. Я все сама! Никто в институте не знает... А наша близость... Понимаешь, раз я почувствовала твою душу, значит, мы чем-то близки. Это странно. Вечная разобщенность, невозможность полного слияния индивидуальностей...

Алешин закрыл рот Дар поцелуем, затем тихо попросил:

— Давай прекратим этот разговор. Мне он неприятен. Наука есть наука, пусть и умозрительная, а жизнь есть жизнь. Я философ и не люблю вымышленных миров. Давай просто, без всяких там сказок...

Дар долго молчала, вздохнула, соглашаясь:

— Ты, наверное, прав. Нельзя соединять несоединимое. Меня тоже так учили. Но я никогда не верила... Пожалуй, лучше оставаться извне или полностью подчиниться чужому миру, раствориться в нем. Я подумаю милый. Если ты так хочешь, я подумаю.

Посланец прибыл точно в назначенное время.

Это был маленький седой старичок в горбатом пальто и заячьей шапке. Не вытерев ног и даже не поздоровавшись, он прошел в комнату, сел в кресло. Шапку Посланец положил на колени, всем своим видом показывая, что разговор будет коротким.

— Сегодня шестое декабря,— недовольным тоном сообщил он.— Что вы себе думаете? Мы и так перерасходовали здесь уйму энергии. Если каждый...

— Переход строить не придется,— перебила его Дар.— Я остаюсь на Земле.

— В каком смысле? — опешил старичок.

— В прямом. Я полюбила человека. То есть объект исследования.

Старичок пожал плечами, откинулся в кресле.

— Час от часу не легче,— проворчал он.— Теоретически, конечно, возможно. По институту было несколько случаев... И все-таки не понимаю: как можно полюбить дикаря?!

— Он не дикарь,— возразила Дар.— Напротив, крупный ученый, философ. С ним интересно.

— Бывает,— вяло кивнул Посланец и достал блокнот.— На сколько продлить ваш въезд? Учтите: плотская любовь всего лишь подобие Великого Слияния. Вам придется потом долго очищать душу. Если вы остаетесь, эксперимент переходит в ведомство отдела эмоций. Полгода вам хватит за глаза.

Дар покраснела, досадливо повела плечом.

— Вы не поняли. Я остаюсь насовсем.

Посланец от неожиданности даже привстал. Заячья шапка упала на пол.

— Девочка моя,— сказал он, беря Дар за руку и вглядываясь в ее глаза.— Вы, наверное, больны. Я сейчас исследую вашу психику и постараюсь помочь. Вы не ведаете, что творите.

— Да нет же! — Дар высвободилась.— Я все обдумала. Это не по мне — отрешенно наблюдать, экспериментировать... Люди близки нам. Чтобы их познать, надо с ними жить. Стать такими же, как они.

— Это невозможно,— жестко возразил Посланец.— Разницу в развитии, в ступенях мировосприятия нельзя ни уничтожить, ни проигнорировать. Как бы вы, девочка, ни пытались раствориться в этом мире, вы всегда останетесь инородным телом. Дело не в знаниях: их можно приобрести, передать. Вы будете постоянно ощущать разность духовных потенциалов. Это убьет вас.

— Я привыкну,— возразила Дар.— Лучше дать счастье одному умному землянину, чем гадать о судьбах всей цивилизации людей. Кроме того, Геннадий самостоятельно нащупал интересные космологические закономерности, я исподволь помогу ему осознать их.

— Но не такой же ценой! — вскричал Посланец, забыв земную форму вежливого обращения.— Ты же все потеряешь! Семьсот-восемьсот лет нашей жизни — это по земным меркам бессмертие. Затем биоформа. Ты глянь на меня, глянь! На эту мерзкую, полумертвую плоть. Но ведь я вернусь в ГИДЗ и стану опять молодым, практически всемогущим. Ты же, приняв их жизнь, через тридцать-сорок лет разрушишься, превратишься в тлен. У тебя заберут все, девочка моя, даже крылья. Останется память и запрет вспоминать. И это самое страшное... Когда ты поймешь всю глубину несоответствия, когда осознаешь бессмысленность жертвы...

Дар заплакала.

— Не надо пугать меня,— тихо попросила она.— Я не хочу быть богом — холодным и равнодушным. Повидимому, мне досталось чересчур отзывчивое сердце, а здесь столько беды и невежества. Не надо меня пугать. Мне самой страшно. Но я знаю: раньше и у нас, и здесь, на Земле, сильные всегда шли на помощь к слабым, гордые помогали малодушным повзрослеть. Нас учили: добро должно быть активным. Значит, надо рисковать и жертвовать. Мы разучились жертвовать.

— Есть разные жертвы, девочка моя,— грустно сказал Посланец, поднимаясь из кресла.— Необходимые и, как бы тебе сказать... восторженные. За которыми, кроме порыва и благих намерений, ничего нет.

Посланец подобрал шапку и из умного, властного собеседника вновь превратился в седого старичка в горбатом пальто. Он снова перешел на «вы».

— Мне жаль вас,— сказал он, глядя на богатые «королевские» обои.— Живите как знаете. Но я попытаюсь уговорить руководство института не выпускать вас из виду, не принимать всерьез вашу жертву и ваше отречение.

Посланец впервые за время разговора скептически улыбнулся.

— Может, мы еще и заберем вас. Когда произойдет полное отторжение. Может, удастся. А пока — прощайте.

Он зажег глаза в зеленом спектре, что на универсальном галактическом языке означало пожелание удачи, шагнул на середину комнаты и растворился в воздухе.

Дар несколько минут тупо разглядывала обои, пока не спохватилась: в дверь настойчиво звонили. Два длинных, три коротких. Значит, Геннадий не один, а с гостем.

Аспирант Овчаренко заходил к ним почти каждую субботу. Обворожительно улыбаясь Дар, еще в прихожей

незаметным движением доставал из «дипломата» бутылку пива.

— Знаю, знаю, Дар Сергеевна,— говорил он, полупряча бутылку за спину.— Вы презираете огненную воду. Но нам, хилым интеллигентам третьего поколения, и так почти недоступны пороки. Нам запрещают, но мы философы...

Михаил говорил много и охотно, однако умел мгновенно «выключиться» и стать преданнейшим слушателем. Перед завкафедрой излишне не заискивал: предпочитаю, говорил он, научные заслуги, а не должностные звания. Заслуги Алешина интеллигент третьего поколения знал настолько хорошо, что мог в нужный момент процитировать что-нибудь из его статьи десятилетней давности. Алешин называл Михаила «без пяти минут кандидат» и пророчил своему аспиранту блестящее будущее.

Разговоры их, покрутившись немного возле науки, как правило, сворачивали на загадочную для Дар личность какого-то Меликова, проректора института, в котором работал Алешин. Получалось, что Меликов — подлец и хищник, душитель любой живой мысли, да к тому же еще и завистник.

— Почему вы его не исправите? — не выдержала однажды Дар.

— Кто «вы»? — опешил аспирант Овчаренко.

— Вы, люди! — объяснила Дар.

Алешин рассмеялся.

— Моя жена слабо разбирается в реальной жизни,— пояснил он.— Воспитательная функция коллектива годится только для мелких особей, из которых он состоит. Меликов хотя и болван, а все-таки над нами. Плюс его связи, умение ориентироваться...

— Но ведь и им кто-то руководит,— возразила Дар.— Пусть они его исправят.

— Горбатого могила исправит,— заметил вполголоса Овчаренко, вопросительно глядя на шефа.

— Милая, ты все упрощаешь,— раздраженно сказал Алешин.— Это у вас... там... гармония да эфирные создания. Меликов любит поест и не любит ездить в метро. Он, как и все мы, лучше любого пса охраняет завоеванные им блага и жизненное пространство. Это звучит немного вульгарно, зато верно. И вина Меликова не в том, что он живет как хочет, а в том, что он не дает жить другим. Он боится за свой кусок пирога, потому что единственное, что он умеет — есть и спать. А я еще умею думать и нахожу в этом определенное удовольствие. И Михаил умеет. Такие, как мы, крайне опасны для «просто жующих»...

— Где это там, Геннадий Матвеевич? — некстати удивился аспирант.— О каких эфирных созданиях вы упоминали?

— Там? — переспросил Алешин, прерывая свою речь; небрежно кивнул в сторону жены.— На Марсе, дружще, на Марсе. Там и гармония, и эфирные создания. И такие, как... Дар Сергеевна. Жена космолога тоже должна быть немножко не от мира сего.

Он вдруг вспомнил день, когда они решили сходить в загс, и внутренне содрогнулся. Вечером он спросил: «Где твои документы?» Дар безмятежно ответила встречным вопросом: «А что это?» Он разозлился, попросил ее прекратить «звездные штучки». «Но у меня в самом деле нет никаких документов», — возразила Дар. Она подошла к нему, заглянула в ящик, где он хранил ценные бумаги и из которого только что достал паспорт. Затем на минуту вышла на кухню. Вернулась Дар с улыбкой на лице и паспортом в руках. Он раскрыл документ и чуть не уронил его. Все, все, как он говорил тогда, насмешничая. Климова Дар Сергеевна, год рождения 1948, место рождения... Псков. Напомни он ей сейчас — и принесет из кухни... диплом библиотекаря... Да и приход ее! Ночью, голая, под дождем, на лоджии пятого этажа! Эти бредни о Галактическом институте!.. Можно ли жить с таким человеком? У него, помнится, задрожала

ли руки. Дар словно почуяла его испуг и смятение. Прижалась к нему, тихо засмеялась, растворяя в журчании смеха его внезапные страхи. «Ты сам говорил,— шепнула,— что все надо воспринимать с юмором. Ничего ведь не случилось». — «Ничего», — облегченно выдохнул он. «И мы любим друг друга, — убеждала его Дар. — А это самое главное! Во всех мирах и галактиках». — «Во всех мирах», — согласился он.

— Я вам лучше приготовлю обед, — перебила воспоминания Дар.

— Ты умница! — обрадованно зашумел Алешин. — Михаил, вы не представляете, какая Дар Сергеевна фантазерка от кулинарии... Нет, нет, не спорьте. Вы обедали у нас, Михаил, но вы не представляете... Но мы спешим, Дарьюшка. Поджарь нам по-быстрому ветчины... Да, и сухарики, пожалуйста, не забудь. С маслом...

Работа Алешина преображала.

Он погружался в нее не сразу. Сначала перебирал записи, затем на какой-нибудь «спотыкался», начинал проверять мысль: углублялся в источник, мог зачитаться на полчаса и больше, обращался к работам других ученых, как бы сравнивая свои представления с утверждениями предшественников и коллег.

На письменном столе, диване, даже на подоконнике накапливались десятки книг и журналов. Алешин начинал писать и мог углубиться в работу, а то бросал ручку, расхаживал по кабинету, снова хватался за чью-нибудь монографию, пораженный внезапной мыслью, бросал книгу и бежал к столу, чтобы сделать пару пометок на листе ватмана, которым накрывал стол.

— Посиди у меня, — всякий раз просил он Дар, приступая к работе.

Дар забиралась с ногами в кресло, читала что-нибудь

или слушала отрывки из монографии, которые Алешин оглашал с радостью полководца, одержавшего победу и объявляющего о ней своему народу. Народ в лице Дар частенько устраивал «полководцу» разносы, которые Алешин тоже подчинил работе. Дар подметила: муж, как философ, моментально схватывает любую ценную мысль или критику, тут же сам развивает их, подчиняет своей идее или отбрасывает, но обязательно сам. Когда ему работалось, от Алешина исходили сила и уверенность. Он как бы начинал светиться изнутри, и от этого в их доме становилось теплее.

Уходил в институт — и свет мерк. Алешин будто выключал его, покидая кабинет. Дар как-то сказала ему об этом. Геннадий пожал плечами.

— Здесь я летаю, хоть иногда, изредка... А там... — Он неопределенно махнул рукой. — Там я, Дарьюшка, функционирую и заставляю других функционировать. Часто без особой пользы. А это удручает. Словом, жизнь есть жизнь. В ней приходится быть разным.

В тот вечер Алешину не работалось. Он выпил кофе, полистал неоконченную монографию и еще больше скис.

— Ты чего загрустил? — осторожно спросила Дар.

Она не понимала и потому пугалась людской неуравновешенности, эмоциональных перепадов, которые у них дома означали бы тяжелое заболевание психики. Да, люди другие! Они быстрее живут. Короткая биологическая жизнь, по-видимому, активизирует духовно-эмоциональную. Люди неистовы. Они мало чего достигли конкретно, но о многом знают или догадываются, а еще большего хотят. Желания их, увы, несоизмеримы с возможностями, но в этом что-то есть...

— Тебе мою грусть не понять, малыш, — ответил Алешин. — Многие мудрости — многие печали, — пошутил он, и голос его дрогнул: — Понимаешь, Дарьюшка, я иногда теряю смысл происходящего... Мне уже сорок семь. Научные отличия — пустое. Я достаточно умен, чтобы са-

мому судить о сделанном. Да, были отдельные мысли, озарения... Однако своей концепции, своей убедительной модели Вселенной я так и не создал. Впрочем, и это пустое! Самое страшное, что каждая моя маленькая победа в области мысли отзывалась сокрушительными поражениями на фронтах жизни.

Алешин вздохнул, ласково взял Дар за руку:

— Понимаешь... Я стал профессором и попутно испортил характер: из веселого парня превратился в зануду и неврастеника. Написал книгу — потерял жену. Ради чего все это? Все эти потери? Мне больно, когда представлю, сколько мной не сказано ласковых слов, не выпито ключевой воды на привале, не замечено красоты. Я космолог, но звезды, увы, вижу чаще на коньячных этикетках, чем в небе... Я стал бояться открытий, ибо за все приходится расплачиваться. Я не хочу, Дарьюшка, написать эту проклятую монографию и потерять тебя.

— Мне трудно с тобой, — неожиданно для Алешина согласилась жена. — Ты чересчур неровный. Непредсказуемый. То добрый и нежный, а то язвительный и вспыльчивый. Я знаю — это не со зла. Я знаю также, что крупные личности часто бывают импульсивными. Поэтому я многое прощаю тебе. Однако мне от этого не легче. Я не знала, что любить человека так непросто.

Алешин порывисто привлек ее к себе, виновато попросил:

— Не казни меня так, Дарьюшка. Я не хуже и не лучше других. Ты увидела во мне лучшее — тогда, ночью, когда пришла... Но во мне, кроме света, живет и мрак. А сколько приносит в нас жизнь?! Сколько во мне чужого? Не только мудрых мыслей и возвышенных слов, но и чужого мусора, грязи, обид, усталости?

Дар поцеловала мужа.

— Я вовсе не казню тебя, — улыбнулась она. — Поэтому я сейчас иду спать, а ты можешь еще поработать.

Дар показалось, что она только легла и закрыла глаза, как ее позвал Геннадий:

— Проснись, милая.

Она краем глаза глянула в окно — там стояла ночь.

— Такси ждет,— сказал Алешин и пощекотал губами у нее за ухом.— Я заказал... Только ни о чем не спрашивай. Уговор?! Я помогу тебе одеться...

Она пробормотала что-то, соглашаясь, однако до конца не проснулась. Если к телу, своей земной оболочке, Дар привыкла очень быстро и даже полюбила его (сама ведь выбирала), то вот образ жизни людей, масса алогичных обстоятельств и ситуаций, на которые приходилось тратить нервную энергию, все это очень утомляло. В бытность эфирным существом, Дар считала сон анахронизмом. Теперь же только он и приносил кратковременное избавление от забот и постоянного напряжения. Первые дни Дар вообще спала напропалую. Алешин называл ее «спящей красавицей», тревожился о здоровье, но потом привык и смирился, как с данностью.

Проурчал лифт. На улице Дар стеганула ноябрьская стынь, но машина стояла возле самого подъезда, и через несколько секунд она снова очутилась в теплой полутьме.

Такси рванулось в ночную пустоту улиц.

— Подремли, малыш,— прошептал Алешин, привлекая ее голову к своему плечу.— Ехать долго, подремли.

Дар не видела, как выбиралась машина из переплетения проспектов и улиц большого города. Она дремала до самых Пулковских высот. Затем среди холодных звезд возникли купола обсерватории, и такси остановилось. Алешин заскочил к дежурному, вышел с ключами.

— Сегодня на Большом не работают,— пояснил он, увлекая Дар в высокое гулкое помещение.— Это наша гордость — шестидесятипятисантиметровый рефрактор.

Алешин замолчал, так как слова под сводами купола казались лишними и никчемными. Он подвел жену к окуляру телескопа, отрегулировал высоту сиденья.

...На нее буквально упали знакомые созвездия!

Дар всем естеством ощутила их близость, потому что знала их не по звездным атласам, а лично, именно естеством — тем, полузабытым, эфирным, которое переносило ее сознание в неизмеримых далях Галактики. Впервые боль утраты — огромной, невосполнимой! — пронзила ее, оглушила, заставила сжаться на холодном поворотном кресле.

В один из выходных Алешина, когда он отправился на дачу, Дар решила повидать «это чудовище — Меликова». Она знала; что вместе с бессмертием потеряла после «отречения» и все свои необычные для людей способности. Но она также знала, насколько выше ее мозг и психика, насколько тоньше их устройство по сравнению с земными. Хоть что-нибудь она увидит. Эманация зла обычно бывает ярко выраженной. Если постараться, то заглянуть в душу проректора, о котором столько толкует муж, будет не так уж сложно. В конце концов, Меликов — объективная преграда на пути Алешина. Даже по условиям эксперимента ГИДЗа, прими она их, опекун обязан устранить преграду. Алешин должен как можно скорее закончить монографию и опубликовать ее.

Она долго ходила возле института. Слева от здания, возле стоянки машин, позвякивая, разворачивались трамваи. Пассажиры то набегали гурьбой, то исчезали в вагонах, и на остановке вновь становилось пустынно.

Она сразу узнала черную «Волгу» Меликова. Хромированные подфарники, красные чехлы сидений. Все, как говорил Геннадий.

Молниеносно и точно Дар определила ход последующих событий. Трамваи выходят на круг через три-четыре минуты. Путь проректора к машине в любом случае пересекает трамвайную колею. Во время разворота Меликов должен стоять здесь — ни на сантиметр в сторону. Она заговорит с ним, затем сделает вид, что обо-

зналась, начнет шутить, незаметно увлечет и выведет его в нужную точку. Задний вагон лишь краем заденет его голову. Но этого окажется достаточно, чтобы «чудовище» месяца три-четыре провалялось в больнице и вышло на волю с частичной амнезией. Для жизни такая потеря памяти не помешает, а вот из института придется уйти...

Дар поежилась. Алешин купил ей теплую шубу, а вот сапожки по недомыслию взял осенние. Крещенский мороз пробрался к ногам, и Дар постукивала ими. Материальное тело теперь казалось ей нелепым и крайне не приспособленным к жизни. Эти жилища, одежда, бесчисленные болезни и опасности... То ли дело мчаться среди звезд в виде яростного сгустка систем силовых полей, быть и неотъемлемой частицей Вселенной, и ее хозяином.

Высокая дверь института открылась, наверное, в сотый раз за последние часы и выпустила Меликова на улицу. Дар шагнула ему навстречу.

«Опекун обязан устранить преграду...»

Она сосредоточилась и без труда заглянула в душу проректора. Там оказалось крайне тоскливо и еще холодней, чем на улице. Мысли Меликова шли бессвязно, толчками, натываясь одна на другую:

«...Боль вроде непостоянная, проходящая, но если лопнет сосуд, эта язва меня доконает. На операцию не согласился. Каждый раз есть две опасности: потерять много крови, а в случае операции... Да что об этом думать... Мы предполагаем, а случай решает...»

«Цветы... Не забыть купить цветы. И конфеты. И спрятать дома вермут. Если Лялька приведет своих «динозавров», они опустошат холодильник, везде нагадят своими сигаретами — кучки пепла находишь потом даже в платяном шкафу».

«Опять звонили из журнала. А я все тяну и тяну со статьей. Погружаюсь в сотни нелепых и никому не нужных бумаг, дремлю на совещаниях и заседаниях. Про-

клятое «некогда»! Некогда просто сесть за письменный стол, разложить записи и выписки, подумать... Это так сладко — думать. Если только я не разучился. За четыре года ни одной статьи. Конечно, можно было бы завести «негров». Как Алешин, например. На него вся кафедра пашет, а он их за это презирает и держит в черном теле. Овчаренко еще в прошлом году мог защититься — нет, придержал. Тихонько, незаметно. И главное, гад, моими руками. Сам же, наверное, все вывернул наизнанку: мол, Меликов палки в колеса вставляет. Не хочется ему терять такого адъютанта, это понятно. Кому хочется что-либо терять...»

И тут Дар буквально оглушила волна липкого страха:

«Не удержаться, нет! Он молодой, напористый, его знают в президиуме академии. Он умеет блеснуть, показать свою незаменимость в любом деле. А что умею я? Копаться в рутине административных дел, нести все на своем горбу... Кому это нужно? Во всяком случае, Алешин, заняв мое место, не станет утруждать себя заботами. При желании всегда найдется какой-нибудь Овчаренко, который станет преданной тенью, роботом-исполнителем...»

«Опять боль! Мне нельзя волноваться — лопнет язва. А не лопнет, так придет Алешин... Придет и растопчет! Я представляюсь ему анахронизмом, знахарем в сверкающем храме науки. И что с того, что алешины превратили этот храм в рынок? Да, они имеют «товар». Но они не живут мыслями, а продают их. И философия из диалогов мудрых превращается в соперничество знающих, из обмена возвышенным в возвышенный обман... Кроме того, Меликов, ты уже стар, хоть и не сед. А Алешин не придет... Он уже пришел в храм, ты его сам привел, за руку, было дело. И он не растопчет. Он уже растоптал и пошел дальше, не заметив то, что было тобой, Меликов...»

Дар вдруг услышала панический звон трамвая, лихо вылетевшего на поворот, и мгновенно очнулась.

Проректор шел трамваю наперерез, точнее, стоял уже на рельсах, ничего не замечая и не слыша голоса гибели. Сейчас огромная красная машина ударит его в бок, сошнет и бросит под колеса...

Дар кинулась вперед, рванула Меликова за отворот пальто. Он отлетел в сторону, грузно упал на спину, в снег, но тут же повернул к обидчику широкое дряблое лицо. Только теперь Меликов услышал душераздирающий звон трамвая, увидел вагоновожатую, закрывшую лицо руками, и понял, где он уже почти был и откуда чудом вернулся.

— Простите, ради бога, простите,...— бормотал он, нашаривая в снегу то ли очки, то ли отлетевшую при падении шапку.

Дар потянулась к Меликову, чтобы помочь ему подняться.. Он схватил ее руку, стал тыкаться в нее холодными мокрыми губами.

— Я так обязан, так обязан,— приговаривал он.— Вы спасли... Скажите свое имя! Как вас отблагодарить?..

Дар вырвала руку, затерялась в толпе любопытных, тотчас же собравшихся на месте происшествия.

Ужас былых намерений гнал Дар домой. Неоднозначность этого примитивно-сложного мира поразила ее. Как они живут? Где у них критерии правды, в чем они? Как отличают черное от белого и кто в конце концов прав в данном случае: ее возлюбленный или этот тучный и, наверное, несчастный человек, который только что чуть не погиб? И можно ли в этом мире кому-нибудь безоговорочно доверяться, как это принято у них? Как опекать людей, чьи правды так не похожи?!

Впервые Дар захотелось все бросить и улететь.

Муж — чудо из чудес! — повязавшись фартуком, чистил картошку.

— Где ты так долго была? Я уже начал волноваться,— упрекнул он.

Алешин помог Дар раздеться и, не заметив ее подавленности, повел на кухню.

— Я сегодня делаю прием в честь моей звездной девочки! — заявил он, показывая уже приготовленный их любимый салат из вареных яиц и лосося. — А вот свежие золотистые сухарики. Еще горячие. И великолепные отбивные.

— Что с тобой? — удивилась Дар. — Что-нибудь случилось?

— Случилось! Что-то случилось — чувствуем мы... — пропел Алешин, привлекая ее к себе. — Сегодня первый день весны — раз. Я тебя очень-очень люблю — два. Кроме того, я сегодня славно поработал. Дописал седьмую главу, начал новую. Хочу поразмышлять о стабильности гипотетических цивилизаций, их жизнеспособности и долговечности. Понимаешь, от этих факторов зависит уровень развития цивилизации.

— Понимаю, — улыбнулась Дар. — Дай-ка я сниму шубу и надену теплые носки. Ноги прямо ооченели.

Алешин бросил нож, стал помогать жене снимать сапожки.

— Учти, — сказала вдруг она. — Развитие цивилизаций даже при благоприятных условиях не всегда идет по экспоненте. Стремление к познанию тоже зависит от многих факторов. Например, от природной интенсивности разума или от того, входит ли познание в исторически выработанную систему социальных стереотипов ценностей...

— Откуда такая мудрость? — удивился Алешин и тут же вспомнил: — Ага, все ясно. Как говорится, сама ви-дела. Дай я тебя за это расцелую.

Он усадил Дар в кресло, укутал ей ноги пуховым платком. Затем быстро сервировал журнальный столик, включил телевизор.

— За тебя! — Алешин с удовольствием выпил, закусил долькой лимона. — Ты в самом деле Дар! Пони-

маешь, с твоим появлением мне стало работать. Столько новых мыслей... Ведь в сущности проблема Контакта сводится к двум кардинальным вопросам: есть ли иной разум вообще, и если есть, то почему он не входит с нами в контакт.

— Ага,— передразнивая мужа, сказала Дар.— Попробуй с вами войди... Вы же догматики. Вот ты придумал какие-то модели и закольцевал, замкнул на них свое воображение. Сигналы подавай тебе только в радиодиапазоне, пришельцев — в ракетах. Все это так примитивно...

— Конечно,— засмеялся Алешин.— Лучше нагишом — и прямо на лоджию. Контакт гарантирован.

— Гена,— Дар устало откинулась в кресле.— Почему ты не можешь быть серьезным? Или не хочешь? Почему ты каждодневно испытываешь мое, и без того достаточно безумное, чувство к тебе? Откуда в тебе этот постоянный скептицизм? Эти сарказм и неприязнь к людям? К тому же Меликову, например?

— К Петру Петровичу?! — возмутился муж.— Знаешь, это уже твои фантазии. Меликов, конечно, ретроград, но как человек... Он мне сегодня Болгарию предложил! Понимаешь? Две недели. Симпозиум не ахти какой, но сам факт...

И вновь Дар на миг задохнулась от чувства, что все здесь, в этом мире, зыбкое и неопределенное: понятия, чувства, эмоции, что ей, наверное, никогда не разобратся в хаосе, где практически нет однозначности. Ведь раньше муж говорил о Меликове совершенно противоположное. И с нею, своим звездным даром, был постоянно невнимателен и неласков. Что же изменилось? И как надолго? Есть ли что-нибудь вообще стабильное в этом изменяющемся, плывущем под взглядом и рукой мире?

— Ну разве ты не понимаешь,— пробормотал муж, наклоняясь и горячо дыша ей в лицо.— Дарюшка! Се-

годня счастливым день, и я люблю весь мир, а в нем больше всех — тебя. Это так логично. Мои студенты говорят: «Это и ежу понятно»...

— Ты как-то очень прозорливо написал о несоответствии уровней развития разных цивилизаций, — осторожно заметила Дар.

Алешин стал целовать ее щеки, шею, ложбинку, которая уходила к холмикам груди.

— Это не страшно, мой найденш, — прошептал он. По его лицу бродила улыбка, которую Дар не поняла бы, проживи она на Земле еще тысячу лет. То ли униженная, то ли глумливая, то ли и вовсе сатанинская. — Несовпадения преодолеваются. Да, да, все несоответствия и несовпадения преодолеваются... терпением и жертвенностью.

Алешин засмеялся, с хитрецей захмелевшего человека погрозил Дар пальцем.

— На то вы и старшие... А мы что? Мы — дети. Вот и нянчитесь с нами. Нас такой расклад вполне устраивает.

Он будил Дар поцелуями, шептал ей бессвязные и в общем-то глупые слова, в которые вдруг, как и тогда, осенью, вплелись просящие интонации: «ты только будь со мной», «только не исчезай, фея моя», будто Алешин в глубине души всегда верил в звездное происхождение жены, но притворялся, а сегодня его ужаснула мысль о случайности и непрочности его счастья, заставила бормотать повинные слова и неистово искать близости, будто в ней, и только в ней — в кратком слиянии, восторге тел — была гарантия их отношений, обещание, что все останется, как и прежде.

Успокоенный, почти засыпающий Алешин, после полуночи уткнулся головой под мышку Дар, попросил:

— Расскажи, как там, на звездах.

И вновь на его губах сложилась во тьме непонятная улыбка.

Монография разрасталась.

Алешин днями не выходил из дому, заполняя страницы стремительным четким почерком. Раз зашел Овчаренко: без традиционного подарка, зато с полным дипломатом литературы и каких-то расчетов, которые требовал шеф.

— Вот эту главку я прочту им в Болгарии,— многозначительно сказал Геннадий Матвеевич аспиранту и, повертев перед его носом бумажной трубкой, с хитрой улыбкой спрятал ее за спину. Слово «им» в устах профессора прозвучало даже грозно, словно речь шла не о выступлении на международном симпозиуме, а о решающей битве умов, в которой он непременно хотел победить.

В эти дни Алешин как бы забыл о существовании Дар. Механически съедал обеды, как должное воспринял умение жены печатать на машинке и тут же засадил ее за работу.

— Я ради тебя научилась,— похвасталась Дар, когда принесла мужу первую кипу перепечатанных страниц.— Всего за полдня научилась.

Алешин рассеянно улыбнулся.

— Раз ты фея, то должна и все уметь,— сказал он, целуя Дар в шею.— Скажи спасибо, что я даю расчеты знакомому программисту и не использую тебя вместо компьютера. Ведь ты смогла бы?

— Конечно,— радостно ответила Дар.— И гораздо быстрее ваших ЭВМ.

Алешин изменился в лице.

— Не надо,— попросил он.— Пусть сказки остаются для спальни, Дарьюшка. Жизнь и твои фантазии несовместимы. Ты чересчур хорошая хозяйка для феи.

Дар пожала плечами, отстранилась.

— Это так просто,— печально промолвила она.— Другое сложно. Мне кажется, ты не понимаешь меня. Не веришь мне.

— Ну что ты,— Алешин направился к своему кабинету.— Я понимаю твою любовь. Я без тебя жить не могу. Разве этого мало?

— Разве этого мало? — будто эхо повторила Дар.

«Если бы я знала,— подумала она с непонятной тоской.— Я искала любовь и нашла ее. Странную, непохожую на рассудочно-возвышенное объединение духовных субстанций у нас. Я вернулась в непрочный мир, в котором мало гармонии и много страстей. Мне он нравится. Может, потому, что в родном мире у меня не было прочных привязанностей. Но и здесь все так зыбко. И тоже непрочно. Геннадий, конечно, любит меня, но больше тело, чем душу. У нас одна крайность, у них — другая. А где же золотая середина? И есть ли она вообще под звездами?»

Дар тихо заплакала (ей понравилась эта особенность человеческого организма — слезы как будто смывали горестные мысли) и пошла в гостиную допечатывать главу.

«Непостижимо! — мучилось ее сердце.— И Посланец, и теперь вот Геннадий говорили о жертвенности. Почему у них; на Земле, любить — значит жертвовать? Должно все быть наоборот. Я всегда полагала, что это чувство сродни вдохновению: обогащает светом и радостью. Но даже если и так... Почему Геннадия бесит, когда я обнаруживаю, что живу для него. Он же хочет этого и в то же время хмурится, когда я говорю: «если ты хочешь», «если так нужно». Что это? Проявление совести или обычное лицемерие?»

Это было во вторник.

А в пятницу, когда Алешин уехал в институт, в дверь робко позвонили. Дар, не заглядывая в глазок, открыла. На площадке стояла незнакомая женщина в черной косынке.

— Извините,— сказала она,— я со второго подъезда. Вы знаете, вчера Паша умер, дворник наш. Павел Потапович,— поправились она.

Дар не знала дворника, но на всякий случай кивнула.

— Я соседка их,— объяснила женщина.— Решили собрать, кто что может. На похороны. Паша выпивал, а теперь вот трое сирот оставил. Старшая только в седьмой класс пошла.

— Нужны деньги? — спросила Дар, с трудом вникая в логическую связь, которая соединяла смерть выпивохи-дворника, эту женщину с энергичным лицом и ее, жену профессора Алешина.

— Кто сколько может,— подтвердила гостя.

— Обождите минутку.

Дар зашла в кабинет, открыла шкатулку, в которой хранились деньги. «Сколько же дать? — подумала растерянно она. Вспомнила о детях.— Трое — это много...»

Она вынесла три четвертных, подала женщине через порог. Та механически взяла, затем, рассмотрев купюры, удивилась, даже испугалась.

— Что вы — такие деньги! Ну, рубль там или три. Не надо, что вы!

— Берите, берите,— сказала Дар.— Это сиротам.

Вечером, за ужином, она рассказала о несчастье Геннадия. Тот слушал невнимательно, допивал чай.

— Знаю я этого алкоголика,— жестко заметил о покойном.

Дар сказала о соседке, которая собирала на похороны, о детях. Алешин кивнул головой: надо, мол. Дар вскользь назвала сумму и беззаботно сообщила, что она сегодня открыла для себя музыку Грига — передавали по радио.

— Даже заплакала,— похвалилась она.— Я уже научилась плакать, представляешь?!

Алешин поперхнулся чаем, поднял на нее бессмысленные глаза.

— Сколько? — переспросил он.— Сколько ты ей дала?

— Семьдесят пять,— ответила Дар.— А что? У нас же есть еще.

Алешин отставил недопитый чай, криво улыбнулся.

— Глупо, конечно, ссориться из-за денег.— Он помолчал.— Но в нашем громадном городе тысячи алкоголиков и каждый день кто-нибудь умирает. Каждый час. А может, и чаще. Я не могу содержать всех сирот. Не понимать этого не может даже... инопланетянин, из какого бы института он ни был. Прости, Дар, но ты просто ненормальная. И болезнь прогрессирует...

Он ушел в кабинет, но работал мало — ходил, даже закурил, что бывало с ним крайне редко.

Дар попробовала почитать газету. Она опять остро почувствовала, что, несмотря на колоссальный объем информации, которую усвоила перед отбытием на Землю, ей катастрофически не хватает знаний о людях, их привычках, частной жизни. Попробовала, но читать не смогла. От жгучей обиды наворачивались слезы, газетные строки дрожали и расплывались. Вот тебе и жертвенность, и опекунство... Вот любовь по-земному.

Дар разделась, выключила свет. Через полчаса в спальню пришел Алешин и тоже лег. Помолчал, затем неловко попытался обнять:

— Хватит дуться. Расскажи лучше, как там на звездах.

Дар судорожно вздохнула, будто всхлипнула.

— Чисто там,— сказала она и отвернулась.

Алешин прислушался: жена чем-то стучала на кухне. Он тихонько прошел в гостиную, открыл бар. Хотелось холодного — фужера два-три «эрети» со льдом, чтобы снять липкую тяжесть дневной жары, разом погасить заботы дня, которых сегодня было как никогда много. Но лед на кухне, а там Дар со своим дурацким отношением к спиртному: всякий раз, когда ему ну просто

необходимо выпить, замирает и смотрит так, будто он по меньшей мере пьет серную кислоту.

Алешин поморщился, налил полфужера минеральной и залпом выпил. Тут же закурил сигарету и отправился на кухню.

Жена стояла возле окна и резала на доске овощи.

«Опять рагу,— тоскливо подумал Алешин.— Нет, она в самом деле ненормальная — брезговать мясом... Сказать? Нет, от ее «если надо»... и так тошно».

Дар улыбнулась мужу:

— Я купила два арбуза. Они в холодильнике.

Алешин немного оттаял душой, присел на скамеечку возле раковины мойки.

— Ты знаешь,— сказал он, разглядывая гирлянды освещенных окон соседнего дома.— Меня этот Меликов доводит до белого каления. Он все-таки копает под меня. Его бесит мое профессорство. Бездарность любой прогресс, любое продвижение воспринимает как отклонение от нормы. Да, да! Бездарность всегда считает себя нормой. Эталон! Больше того — государственным стандартом...

— Опять ты кричишь,— заметила Дар.— Я же тебе говорила: не обращай внимания. Твое дело — заниматься наукой. А у вас поединок самолюбий.

— Много ты понимаешь,— озлился Алешин.— Я сегодня зашел к нему насчет своей монографии. А он мне с ухмылочкой: «Трудную стезю вы себе выбрали, Геннадий Матвеевич. Массы нынче обольщены идеей профессора Шкловского об уникальности нашей цивилизации. Ваша же концепция...» Тут я ему: «Концепция не моя, дорогой коллега. Она Джордано Бруно принадлежит».

— Можно было Анаксагора назвать. Или школу Эпикура,— сказала Дар.— Они ведь раньше провидели.

— Эпикур,— фыркнул Алешин.— Да Меликов и о Гомере в жизни не слышал. Он знает только, что такое свинья и как ее подложить.

— Если хочешь, я помогу тебе,— сказала жена, нарезая кубиками картошку.

Чтобы не выругаться, Алешин выскочил из кухни. Уже не таясь, открыл бар и выпил еще полфужера коньяку. Захотелось что-нибудь съесть. Он опять пошел на кухню, мысленно постанывая, как от зубной боли: «Сколько можно повторять эти унижительные «если надо», «если хочешь»... С одной стороны, собачья преданность, с другой — осточертевшая игра в «звездную девочку», высшее существо. Как я только терплю...»

— Хочешь, я позвоню Шкловскому? — спросила Дар, когда он выудил из банки маслину и бросил ее в рот. — Прямо сейчас позвоню и все ему объясню. Ну, в общем, что ты прав.

Алешин от неожиданности чуть не подавился.

— Бред! Чушь собачья! Паранойя! — закричал он, выплюнув косточку. — Твои сказки хороши только для постели! Для по-сте-ли! Уже сто раз говорено: не вмешивай в серьезные дела свои бредни. Что ты ему скажешь?! Где доказательства в конце концов? Ты можешь хоть что-нибудь доказать? Ему, мне?

Дар побледнела, отложила картошку. Лицо ее искажилось.

— Не могу,— тихо ответила она. — Нельзя. Я же говорила тебе — почему нельзя. Я могу только объяснить. Я много раз пробовала тебе объяснить, помочь. Но ты ни разу не выслушал меня до конца. Не воспринял мои слова даже за фантазии.

— Психиатру расскажешь,— зло отрезал Алешин. — Я уже консультировался: типичная паранойя, стойкий систематизированный бред. Черт побери, только этого не хватало! Вся страна обхохочется. Профессор Алешин довел рассуждениями о множестве обитаемых миров свою жену до помешательства.

— Зачем ты так, Гена? — Глаза Дар расширились, наполнились слезами. — Почему ты так боишься правды, Гена?

— Ах, правда! — съязвил Алешин, жадно раскуривая вторую сигарету. — Правда, которая живет на пятом этаже и варит паршивые борщи! И заодно знает истинную космологию?

Он даже встал, чтобы при этом окончательном моральном разгроме ему помогали и рост, и умение держаться перед аудиторией.

— Хорошо, — сказал он. — Предположим — ты тайна. Я кое-что помню о твоём появлении, документах и придуманной мной биографии... Предположим — ты его Величество Журавль. Но ведь любое зеркало скажет обратное: домохозяйка, обычная мешанка, клуха. Прости, но ты доступная тайна. Домашняя, земная. Ты журавль в руках. А место журавля — в небе. Только там! Какая же ты тайна — на этой вонючей кухне? Почему ты здесь?

Нож выпал из рук Дар.

— Почему? — будто эхо повторила она.

И тут на Алешина пахнуло холодом. Ему вдруг почудилось, что Дар одним неуловимым движением сбросила одежду. Он вновь на миг увидел ее всю, как тогда, в дождь. Затем свет мигнул — погас, но не совсем. Дар схватила что-то белое, метнулась к окну. Зазвенело разбитое стекло.

— Дар!!! — страшно закричал Алешин и бросился к двери.

Он перепрыгивал по пол лестничных пролета, рискуя сломать себе шею, что-то кричал — безысходное, непонятное для себя и понятное каждому, кто хоть раз видел смерть. Он бежал так, будто надеялся опередить падение тела, подхватить, смягчить своим телом страшный удар об землю.

Алешин слепо ползал по асфальту. Куски стекла ранили ему руки, но он не замечал этого.

— Где? Где она? — повторял он как безумный. — Где ее тело? Где ты, Дар?!

Люди, подошедшие на крики и звон разбившегося

стекла, осмотрели клумбу палисадника. Кто-то поднял профессора на ноги.

— Иди домой, друг,— строго сказал парень в синем красном тренировочном костюме. Он жил, кажется, на шестом этаже и иногда при встречах здоровался с Алешиным.— Померещилось тебе. Или выпил лишнего. Же-на небось картошку жарит, а ты тут людей пугаешь.

Не замечая насмешливых и любопытных взглядов, Алешин на негнущихся ногах доковылял до соседнего подъезда, присел на скамью.

Он понял. Он определенно уже знал, что жены в квартире нет. То белое, что мелькнуло в ее руках, когда погас свет... Эфирное и упругое... Конечно же, это были крылья! Дар как-то рассказала о них, а он посмеялся: ага, мол, шестикрылые, как у серафима... Улетела! Улетела его ненаглядная. Нет ее ни в квартире, ни в городе, ни на всей Земле.

Улетел Журавль!



АССКАЗЫ

МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ СИКЕЙРОСА

«А не мог ли Канов умереть от радости? Ведь чье сердце вместит и сразу воспримет такое событие? Да нет же. В сообщении ясно сказано: «Не успел сманеврировать». Не успел... Но Канов не из тех, кто в космосе ворон считает. Он еще успел передать, что засмотрелся. Здесь, наверное, и прячется ниточка. Ниточка, которая связывает его неожиданное открытие и трагическую неосмотрительность. На что можно засмотреться, чтобы проглядеть собственную смерть?»

Ребята опять завели свой вечный спор. Меня это злит. Ведь они тоже теряются в догадках, страдают от неизвестности и все же пытаются бодриться, отстаивают свои «абсолютно точные» версии происшедшего. Подождите секундочку — сейчас я вам выдам.

— Верно,— говорю я.— Все верно. Люди всегда искали во Вселенной разум. Сначала мечтали и строили гипотезы. Потом появились энтузиасты и начали поиск жизни среди звезд. Фактов, конечно, никаких не было. Ни тогда, ни теперь. Но теперь мы за дело взялись всерьез. Планомерно прочесываем Вселенную и... оскорбляем ее своим догматизмом. Махровым космическим догматизмом, когда каждый заглядывает только в свою шелку и только через нее собирается увидеть собрата по разуму. А собрат этот, быть может, неотступно близок. Его, может, только разглядеть надо, узнать. Понимаете — узнать! Я все сказал.



Неожиданная моя речь произвела впечатление... Правда, больше своей эмоциональной стороной, чем содержанием.

— Сильно, — покрутил головой Аналитик.

— Мальчик растет, — глубокомысленно изрек Трогай-Трогай.

— И наглеет, — добавил Символист.

А Рая рассмеялась.

— Кто же тот гений, — спросил Символист, — который узнает собрата в лицо? Не ты ли, наш юный друг?

У него поразительная способность говорить резкости или, вернее, высвечивать в любом деле такие стороны, о которых остальные предпочитают молчать. Признаки

феномена разума — наше общее больное место, идефикс. Это по существу. А эмоции... Если честно, то насчет «махровости» я немного преувеличил. Все трое — мировые ребята. В душе я считаю их лучшим экипажем из тех, что ходят на космобиотах поисковой группы «Разум». Когда-то наша группа называлась «Контакт». Шли годы. Контактов все не было и не было, и даже самые пылкие романтики наконец поняли: главное — отыскать мыслящих. Или хотя бы какие-то следы их существования. Пока этого не случилось, о контактах смешно даже говорить. Все равно что делить еще не испеченный пирог. Что касается ребят, то волей-неволей каждый из них примкнул к сторонникам какой-нибудь популярной теории о том, каким образом разум может заявить о себе, оставить эти злополучные, неуловимые «следы». Ребята носятся со своими теориями, часто до одури спорят. Кстати, прозвища, которые выдумала Рая, говорят о них больше, чем нейтральные имена. Им даже самим они нравятся.

Более или менее самостоятельной мне кажется теория самого тихого из нас — Аналитика. Он предложил модель трех миров — без органической жизни, с жизнью, но без разума, и разумный мир (по его мнению, мыслящие существа, хотя они этого или нет, обязательно вносят в природу пусть малозаметные, но глобальные изменения) — и пытался установить корреляционные связи своих моделей с реальными мирами. Трогай-Трогай, этот строгий эмпирик, верил не в теории, а в старую, обнадеживающую поговорку: «Кто ищет, тот всегда найдет». Правда, он еще добавляет: «нечто вещественное». Символист, естественно, выявлял во всем малейшие следы рациональности и целесообразности. Его блестящий ум систематика и математика-аксиоматиста обладал редкой интуицией. «Язык математики универсален, — любил он повторять. — Символы могут быть разные, а смысл один. Ищите смысл». Как я уже говорил, ребята часто спорили. И все они пытались об-

ратить меня, зеленого практиканта, в свою веру. Но в каждой из них меня что-нибудь не устраивало — неопределенность модели трех миров Аналитика, фатализм Трогай-Трогай и бездуховность теории Символиста.

Да, я забыл представиться. Зовут меня Сергей Трошин, прозвище — Нигилист. Окрестили меня ребята так, наверное, в отместку за критику их доктрин.

— Пойдем,— говорит Рая.— Я устала от разговоров.

Мы поднимаемся на смотровую палубу, и я в который раз пытаюсь уловить «чудное мгновение». Меняю фломастеры и карандаши, хватаюсь за пастели. И рву, рву наброски. Рая никудышный натурщик. Ее летучее родниковое лицо очень изменчиво. Отблески чувств и перемены настроения вспыхивают и гаснут на нем неожиданно и празднично, словно фейерверки.

— Ты никудышный художник,— заявляет через полчаса Рая.— Расскажи лучше о Сикейросе. Ведь стереокопии в твоей каюте — это его росписи?

— Его.— Я помолчал, представив могучий и властный полет красок Сикейроса.

— Я мало о нем знаю,— настаивала Рая.— Один из первых мастеров монументального искусства. Кажется, итальянец. Двадцатый век. Да?

— Мексиканец. Он был внуком солдата и поэта. Вся судьба его — это движение и рост. Давид Альфаро стал солдатом революционной армии. Потом капитаном. А в Испании он уже полковник, командир интербригады.

— Это биография военного, а не художника,— задумчиво заметила Рая.

— У него было словно несколько жизней. Его сердце рвалось к свободе, но в тридцать с лишним лет он был брошен в тюрьму как коммунист. Потом ссылка в Таско. Там, бродя среди скал, на их отрогах Давид впервые увидел и запомнил на всю жизнь алые цветы с чудным названием «сангре ди торос» — «кровь быка». В этих

горах за год он написал более сотни полотен. Когда он снова оказался в темнице, уже стариком, тысячи квадратных метров его росписей и панно оставались на свободе. Нет, недаром он всегда особенно любил два цвета — насыщенный красный и черный...

По кораблю разносится звон. Он означает, что через полчаса наш космобот вынырнет возле планеты, где погиб Канов и откуда долетели к Земле обрывки фраз, взбудоражившие весь мир.

Мы возвращаемся в рубку.

«Вот мы спорим, говорим обо всем на свете,— думаю я,— а сами живем одним вопросом: что видел, что узнал Канов? И узнал ли? Ведь не исключено, что слова его — чистейший бред, предсмертное наваждение. Узнал ли? Предположения, догадки... Они буквально терзают нас. Впервые появился шанс. Надежда на встречу...»

— Сережа,— обращается ко мне Аналитик,— включи, пожалуйста, еще раз запись.

Сначала тишина и шорохи. Кажется, даже представляешь, с каким трудом пробиваются сигналы сквозь бездны пространства. Затем идет возбужденная скороговорка Канова:

«...Я видел Разум. Я вижу их, но не могу поверить! Они такие же, как мы. Они... прекрасны,— казалось, Канов не находил слов. Вдруг его голос дрогнул.— Господи, какая нелепость... кажется, разгерметизация... Астероид. Я все забыл, не успел увернуться... Я засмотрелся... Но я видел!...»

Несколько минут мы лежим в инерционных креслах и молчим.

— Почему все-таки не сработал автомат, предохраняющий от столкновения с астероидами? — в который раз спрашивает Аналитик.

— Ничего не понимаю,— вздыхает Рая.— Дело происходило в открытом космосе. Значит, Канов, наверное, увидел чужой корабль. Но откуда он мог знать, что они такие же, как мы?

Мы молчим. Что можно ей ответить? Мы даже не знаем, можно ли верить сообщению Канова. Для того и летим к планете, чтобы все выяснить, проверить. Тройной звонок опять облетает все закоулки корабля. Мы выходим из подпространства. И сразу же космобот содрогается от беззвучных выстрелов лучевой пушки. Экран становится пепельным от обилия метеоров и астероидов, которые расстреливает наша доблестная автоматика.

— Ого! — удивился Трогай-Трогай. — Здесь приличная каша. Планета, похоже, расположена в самой середине пояса астероидов.

Нас посадил автомат. Никто не проронил ни слова, но мысль о том, как мог Канов в такой обстановке отключить его, засела в голове у каждого.

— Я бы не хотела улетать отсюда, — говорит Рая и смотрит вдаль.

Звезда еще не взошла, и ветер ненадолго затих. Трава наполнилась ночной росой, совсем как на Земле. А за густым кустарником цвета когда-то виденной в музее старой бронзы встает стена леса. Левее, за громадой нашего космобиота, открывается взору предрассветная, пестрая от цветов степь. Какая-то исполинская рука словно перечеркнула ее двумя небрежными мазками пурпура. Недавно мы с Раей отправились туда побродить по траве и чуть было не заблудились в зарослях гигантских маков. За ними, возле самого горизонта, сияла цепочка озер.

— Голубое ожерелье, — восхитилась Рая, заведя их. — Настоящее ожерелье, правда?

Часы отдыха коротки, и я снова и снова с непонятной для других настойчивостью берусь за кисть. Конечно, я дилетант в живописи, но вокруг столько красоты, что нет сил удержаться. Это мир освобожденных красок. Сочных, щедрых, ослепительных. Здесь нет полтонов. Местные леса и поля — мозаичные, с резкими

переходами цвета. Черный, будто обгоревший, лес вдруг сменяется зелеными джунглями, в которые клином врезается поляна голубой травы. Такие контрасты непривычны, мы поначалу удивлялись им. Позже Рая взяла пробы и туманно объяснила нам, что все дело в особенностях почвы.

Увы... Планета Канова оказалась прекрасной, но и... без живых существ. Пусть простят меня эти деревья и цветы, но ведь мы искали не их. Не их!

Первые три дня мы почти не спали. Все ожидали, что из мозаичных лоскутных лесов наконец выйдет неземное существо. Тщетно. Приборы немые, зонды возвращаются ни с чем, а глаза уже отказываются просматривать тысячи бесполезных кадров аэрофотосъемки. Пестрота, бессмысленный калейдоскоп цветов. И ничего более, ни одного следа разума на всей планете.

— Этого следовало ожидать, — грустно заметил как-то вечером Символист. — Канов всю жизнь мечтал о встрече. Если бы на его месте был я, если бы я умирал возле своей последней звезды, то, наверное, мне тоже померещились бы братья по разуму.

— Не уверен, — как всегда, задиристо сказал Аналитик. — Ты и умрешь со знаком интеграла на челе.

— Не надо об этом, — нахмурился Трогай-Трогай. — И о Канове тоже. Он никому ничего не обещал. Наше дело — проверить и доложить Земле. Не надо эмоций...

Трогай-Трогай, который уверовал в то, что цивилизация не может не оставить после себя материальных следов, тоже разочарован. Его теория «сувениров», увы, не подтвердилась. О Символисте и говорить нечего. И вообще ни гроша не стоят все наши теории! Не состоялась встреча. Пустой оказалась древняя мечта о том, что человечество неодинокое среди звезд. Вчера я случайно увидел, как Рая, стоя на взгорке, смотрела в сторону озера и вытирала ладонью глаза. Только ветер радовался неизвестно чему. Ветер цветущей, но бесплодной планеты.

Странности начались, когда Трогай-Трогай предло

жил готовиться к возвращению и мы стали обобщать данные.

Аналитик, краснея и тише, чем обычно, сказал:

— У меня, по моей методике, коэффициент корреляции 0,58.

— А какие системы ты сравнивал? — встрепнулся Символист.

— Сводное описание этой планеты с общей моделью планеты разумной жизни.

— Ошибка?

— Практически исключена. Я все перепроверил.

Трогай-Трогай лишь присвистнул.

— Поразительно! — воскликнул Символист. — Если я не ошибаюсь, то Земля дает всего 0,9.

— 0,86, — уточнил Аналитик.

— Ну и в чем же здесь проявляется Разум? — спросил Трогай-Трогай.

— Не знаю. Коэффициент указывает только на похожесть, на глобальные проявления Разума. Но ни один из нескольких десятков тысяч параметров, как ни странно, не выделяется. Может, их совокупность...

— Ерунда, — резко прервал Аналитика Трогай-Трогай. — Чисто случайное совпадение. Планета мертва, если не считать растительности. Мы это видели собственными глазами.

— Здешний мир проникнут гармонией, — осторожно заметил я. — У меня настойчивое ощущение...

— Настойчивые ощущения в число параметров не входят, — отмахнулся Аналитик.

— Растения здесь странные, — сказала вдруг Рая. — Между ними нет борьбы за существование, они не размножаются, а только репродуцируются. Им не нужны новые территории, они не теснят друг друга.

— Ну и что? — пожал плечами Трогай-Трогай.

Разговор иссяк, однако он поставил нас в тупик и посеял то ли тревогу, то ли надежду. Мы задержались еще на неделю, но безрезультатно.

Мы возвращаемся. Улетаем. Ни с чем.

Мы лежим, все пятеро, в инерционных креслах и от нечего делать смотрим на экраны. Их много. И на каждом свой лик планеты — в инфракрасных лучах, в ультрафиолете, распределение элементов... Космобот сейчас пролетает примерно в той области околопланетного пространства, где погиб Канов. Засмотрелся, погиб. Но почему все-таки не сработал автомат?

И вдруг в моей голове все завертелось. «Засмотрелся!..» Ведь автомат работает от локатора, и если отключить локационный комплекс, вся эта могучая электроника будет бессильна. Зачем отключать?! Да затем, чтобы хоть на минуту убрать с экранов препарированный приборами мир, чтобы включить телескопический обзор и увидеть космос не лучом локатора, а своими глазами! Какие же мы идиоты — разве можно увидеть космическую жизнь только приборами!

Я через спину Аналитика потянулся к красному тумблеру автомата. Он схватил меня за руку.

— Ты что, спятил?.. Вздумал повторить путь Канова?..

— Да, да, да! — закричал я. — Автомат не работал, потому что был включен телескопический обзор. Ему мешала ваша дурацкая автоматика. Он видел космос своими глазами. Он... своими глазами... — Мне не хватало слов, чтобы доказать, убедить их.

Но и этого оказалось достаточно.

— Возьми противометеорную защиту на ручное управление, — попросил Аналитик Трогай-Трогай и потянулся к пульту. Мы впились глазами в экраны...

Огромный диск планеты был покрыт сотнями рисунков. Живые фрески из многоцветных лесов шли поясами, рассказывая с помощью знаков, геометрических фигур и неизвестной письменности историю обитателей планеты. Посредине диска было изображено звездное небо. Смуглая прекрасная женщина бежала там среди

светил, придерживая за руку смеющегося малыша. Она махала нам, прощаясь, свободной рукой, торопилась и никак не могла убежать.

— Посмотрите вон на те знаки,— прошептал Символист.— Они расшифровывают центральную фреску. Похоже, речь идет о переселении к другой звезде.

— А ожерелье женщины! — вскрикнула Рая.— Ведь это те голубые озера, что мы видели.

Я молчал, замороженный удивительным зрелищем.

Потом, уже на Земле, мы окончательно сумели понять: как ни крепки металл и камень, как ни бессмертны сигналы, странствующие в космических безднах, по-настоящему вечно только жизнь. Особенно в масштабах планеты. Пожалуй, трудно было мыслящим существам придумать, уходя, нечто более разумное и надежное, чем это всеобщее программирование природы как единого произведения искусства, живой и самообновляющейся записи информации. Любой информации, запечатленной на планете-панно и видимой за миллионы километров.

Такие мысли пришли потом. А тогда я смотрел на планету Канова и вспоминал Сикейроса. Сотни лет назад он первым записал такую мысль: «Леонов дал уже нам пример, выйдя из кабины. И я не удивлюсь, если в следующий раз вместо фотоаппарата он возьмет с собой в космос краски. Кто знает! А вдруг мне повезет, и он пригласит и меня разрисовывать стены на других планетах...»

Добрый старина Сикейрос. Твоя мечта не успела сбыться. Но теперь мы убедились, что для настоящего мастера, для настоящего художника вся Вселенная — это вместительное его таланта. Это бескрайняя мастерская. И еще я понял, что Канов действительно мог про все забыть, даже про собственную смерть, встретив наконец в космосе долгожданный Разум. Он в самом деле засмотрелся.

КАК ГОРЬКО ПЛАКАЛА ЕЛЕНА

Странно как! Папа, когда, случается, забудет шлепанцы, идет по гальке медленно, не идет — балансирует, будто циркач на канате, и при этом забавно выворачивает ступни. А вот я бегу к морю и смеюсь. До того горячая галька ноги щекочет — жуть! Папа, кстати, и в воду так заходит. Потому что на дне тоже камни. Их толком не видно, а волна, хитрая, толкается. Папа морщится и бросается на море так, будто хочет его побороть. И обязательно кричит мне, чтобы я постояла на берегу, пока он сплавает... Мы третий год приезжаем в Пицунду, и каждый раз папа ругает эти «проклятые камни» и говорит: «Все! Точка! На следующее лето только в Крым. Чтобы песочек, дикий берег. Никаких волноломов!..» Мы были и в Крыму, но песочка я не видела, а камни там еще больше и острее... Наверное, потому, что папу ранят все на свете камни, мама, разговаривая сегодня утром с тетей Лесей, назвала папу «ранимым».

Родители лежат на пляже под «зонтиком», а я ухажу к большущему старому пню. Он побелел от солнца и от соли, на нем удобно сидеть и смотреть на море. Можно еще рыть подземный ход, но мама запрещает, говорит: «Привалит — пикнуть не успеешь».

Я сажусь на белые толстые корни, глажу их. Пень, наверное, больной. Ведь он шел к морю. Шел, да не дошел. Всего метров двадцать. Может, он, когда спилили дерево, захотел утопиться? А потом или заболел, или передумал. И остался на берегу.

От недостроенного солярия прибежал Генка. Он застенчивый и потому всегда молчит. С ним неинтересно.

— На,— говорит Генка и подает мне полупрозрачное тельце.

Это креветка. И она уж точно утопилась — не шевелится. Я несую креветку родителям, но они увлечены раз-

говором со своими друзьями — дядей Витей и тетей Лесей.

— Играйся, Леночка, играйся.— Мама улыбается мне и напоминает: — Надень панамку. Сейчас самое сильное солнце.

Солнце и впрямь припекает, но я на такие пустяки не обращаю внимания. Мне до слез становится жаль креветку. Мертвая и никому не нужная! Может, бросить ее в море? Она ведь там раньше жила. Но море такое огромное, а креветка такая крошечная. Какое ему дело до мертвого рачка, этому морю? Оно даже корабли проглатывает и тут же забывает о них.

Я рою глубокую ямку — здесь, возле «зонтиков», уже песок — заворачиваю креветку в обрывок салфетки, в которой несла из столовой творог для знакомой кошки, и засыпаю могилу. Сверху кладу большой плоский камень, из побегов бамбука делаю изгородь.

— Все,— говорю маме.— Похоронила.

Взрослые смеются, а дядя Витя надевает джинсы, подмигивает папе и говорит:

— Пошли креветку помянем.

— А что такое поминать? — спрашиваю я.

Папа, одеваясь, отвечает:

— Когда умирает хороший человек, его друзья собираются и вспоминают, каким он был, кому чем помог...

— А если плохой умирает?

— Ну...— Папа на миг задумывается.— Совсем плохих не бывает. Может, он в детстве хорошим был? Почему знать.

— Мы и плохого можем помянуть,— говорит дядя Витя, и все снова смеются. Я знаю: они сейчас пойдут в бар, который рядом с бассейном, усядутся там на высокие стулья и будут пить вино с красивым названием «Букет Абхазии».

Вечером приходит Духота. Она мохнатая и черная. Пока мы в столовой ужинаем, она валяется на наших

кроватях — простыня у меня измятая и влажная. Я рассказываю маме о проделках этой противной Духоты, мама целует меня и говорит:

— Ты фантазерка, Алена. Через две недели в школу, а ты все сказки сочиняешь.

Фу! Нужен мне больно этот первый класс. Все о нем только и говорят — мама, папа, бабушка. А я — ноль внимания. Там надо все запоминать, как стихи на утренник, а я люблю думать.

— Мама, — спрашиваю я, вспомнив креветку. — А зачем все-таки поминать плохих? Лучше о них и не помнить вовсе. Они тогда сразу все умрут.

— Бог с тобой, доченька. — Мама даже как-то пугается. — И тебе не жалко людей?

— Разве зловредины люди? Это пришельцы, мама. Их нам подбрасывают, как кукушка своих кукушат. Чтобы погубить настоящих людей.

Мама качает головой.

— Птенцы все одинаковые. Это потом они вырастают и становятся разными... Так и люди.

— Нет-нет, мамочка. Ты не понимаешь. Славику сколько лет? Четыре. Ага! А он уже зловред. Он всем в глаза песком бросается.

Мама опять качает головой.

— Ты не права, Елена. Все дети рождаются хорошими.

— Что? ЧТО ЖЕ С НИМИ ПОТОМ ПРОИСХОДИТ?! — почти кричу я.

Мама выключает свет — папа пошел в кино и вернется поздно.

— Спи, — говорит она. — Вырастешь — узнаешь.

Волна рычит и кусает меня за ноги зеленым беззубым ртом. Раньше, конечно, у моря зубы были. Но море постарело — и они выпали. И получилась галька. Вон и у папы весной зуб выкрошился. Он тоже стареет.

Странные люди эти взрослые. Я заметила: чем они старше, тем веселее. Улыбаются — мне, друг другу, смеются, собираются вместе и веселятся, будто им одним страшно. Вот и папа мой. Чем старше он становится, тем чаще смеется. Уже третий день перед обедом и ужином он ходит с дядей Витей поминать креветку и хохочет при этом так, что все на пляже оборачиваются в нашу сторону.

— Леночка, — говорит мама, — собирай свои вещи, пойдем.

До ужина еще целый час, но мама с папой должны постоять под душем и переодеться. Сегодня штормит, и бурые волны облепили всех песком. Я не купалась, только в пену приседала — и то как поросенок.

Мы идем через заросли бамбука, в которых, говорят, живут змеи. А еще я видела позавчера, как в бамбуках целовались парень и девушка, которые сидят за соседним столиком. Парень мне нравится — он хорошо играет в теннис и каждый день плавает за буйки. А девчонка противная. Когда берет вилку, то на полкилометра отставляет палец и еще мажется фиолетовой помадой.

— А почему взрослые прячутся, когда целуются? — спрашиваю я.

Родители смеются. Папа, как попугай, повторяет:

— Вырастешь — узнаешь.

Родители идут в корпус, а я пока могу поиграть.

— Я тебя потом позову, — говорит мама. — Держи свой мяч.

Мяч огромный, разноцветный. Он катится с шорохом, будто автомобиль, а когда ударяется, падая с высоты, то глухо бумкает.

Прыг, скок, бум! Прыг да скок.

— Лети, мой золотой. Лети, мой красивый!

Мяч вдруг ударяется о скамейку и катится в глубь самшитовой рощицы.

Я бегу за ним и возле первых деревьев останавливаюсь. Боязно! Мне нравится самшит: он какой-то пыль-

ный, древний, таинственный. И слово «самшит» вкусное, шероховатое. Но в самшитовых зарослях очень темно. Даже днем сумрачно, а сейчас уж солнце садится.

Ничего не поделаешь, надо идти. Не просить же в самом деле взрослых, которые прогуливаются перед корпусом, отдыхают на скамейке. Ничего, я быстренько...

Бегу в том направлении, куда покатился мяч. Где же он? Пыльную тьму кое-где пререзают золотистые солнечные нити. Одна из них дрожит прямо перед глазами. Вот, кажется, мяч. Наклоняюсь, чтобы схватить его и пуститься наутек, но правая рука вдруг уходит в пустоту, ее выворачивает непомерная тяжесть. В моей руке... **ЗЕЛЕНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СУМКА, КОТОРУЮ НАБИЛА ТОЛЬКО ЧТО НА РЫНКЕ...**

ЗЕЛЕНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СУМКА, КОТОРУЮ НАБИЛА ТОЛЬКО ЧТО НА РЫНКЕ молодой картошкой, огурцами, редиской, цепляется одновременно и за ноги, и за ступени. Проклятый лифт — опять испортился, будет теперь грохотать дверьми каждую минуту.

Вот и седьмой этаж.

В такт ударам двери лифта, застрявшего на четвертом, большой задыхающейся рыбой бьется сердце! Вот! А мне едва сорок исполнилось. Полный набор: тахикардия, варикозное расширение вен — куда ж тебе, дуручка, сумки таскать? — и нервы, нервы... Чего только не валяется в сумочке. Седуксен, нигексин, наконец, элениум. Снадобья, как иногда сама над собой подшучиваю, от «сказа». От тех безобразных вспышек гнева, которые возникают из тысячи крошечных причин и которые по большому счету портят нашу жизнь. Все дело, наверное, в несоответствии, в несовпадении образцов жизни, — моего и Костиного. Хотя сонливость его я могла бы если не принять, то понять — а не могу, срываюсь.

Могла бы также помнить, что его привычка раздраженно возражать по любому поводу — не суть его души, а форма самозащиты, проявление комплекса неполноценности, приобретенного то ли в детстве, то ли сразу после школы — а забываю. Могла бы, наконец, хоть изредка побаловать Костю «пряником» — похвалить его труды, которые, как он говорит (да оно так и есть), свершает всецело ради семьи — а не балую. Не могу! Или, точнее, не хочу. А почему все это не делаю и не хочу делать — и сама не знаю. Наверное, все-таки несовпадение. Но только не образов жизни, это внешнее. Не совпадают движения души, то есть наши сущности, образ мышления. Как две половинки открытки, которые достались нам на новогоднем вечере в Доме ученых. Мне и там не повезло: или не нашла «свою половинку» — там было много народа, или она (понимай — он) не пришла на праздник.

Костя считает, что меня еще угнетает собственная обязательность. Это в самом деле тяжело — обо всем помнить, со всем справляться. Но как же иначе? Если я не куплю хлеба или, например, не уплачу за телефонные переговоры, не устрою Машеньку в бассейн, не отремонтирую, не позвоню, не достану, не выясню, не... то ничего этого не будет сделано вообще. Не будет таких деяний в природе! А значит, жизнь без них будет уже другая. Не наша. Одна моя знакомая с кафедры психологии, Таня Глухова, захмелев на какой-нибудь вечеринке, начинает призывать гостей ломать привычные стереотипы. При этом она хватается первого попавшего мужика и тянет его для начала на кухню целоваться. Четыре года назад я попробовала на симпозиуме в Свердловске проверить «теорию» Тани. Оказалось, что мои стереотипы во время короткого гостиничного флирта никаких изменений не претерпели. Даже стыда не появилось, который, говорят, украшает жизнь женщины. Для стыда нужна точка отсчета, а где ее взять? Костя — более чем чужой, а дочурка Машенька с пято-

го класса «ушла в большой спорт» и к матери, то бишь ко мне, не вернулась.

Я ставлю на плиту картошку, нарезаю дольками огурцы.

Затем распахиваю кухонное окно, закуриваю. Из сумочки на свет божий появляется блокнот, в который вот уже лет семь вкладываю листочек с записями дневных дел, для памяти. За неделю листочек покрывается двадцатью-тридцатью пометками, зато как приятно что-нибудь вычеркивать из него. Вычеркиваю: «звонок в Москву», «выкупить Всемирную детскую», «перевод статьи», «вернуть Пруста», «зачёт, заочники».

Взгляд спотыкается на записи красной пастой. Ею обозначаю самое важное или то, что переносится из одного «списка» в другой:

«Съездить на кладбище».

Мама, мама... Как все нелепо и быстро произошло. А разве это бывает «лепо»? Я знаю, что отец все эти годы мучится и... пьет, пьет. Раньше хоть скрывал, а теперь...

Неожиданно из глубины памяти всплывает берег моря. Пицунда. Ясность воды и ясность души, одна прозрачнее другой. И смех родителей, которые поминают в баре креветку. И сочные пушистые персики. И лупоглазый Генка. И разноцветный мяч, который я гоняю перед корпусом и который гудит от восторга и от близости моря. Вот он катится в глубь самшитовой рощи, я бегу за ним в царство теней, наклоняюсь... Сухая ветка вдруг впивается в руку, будто ЗУБЫ СТРАШИЛИЩА...

ЗУБЫ СТРАШИЛИЩА смыкаются вокруг руки — я вскрикиваю и стремглав, натываясь на деревья, бросаюсь к корпусу.

Я кричу так громко, так отчаянно, что еще больше пугаюсь. И только когда утыкаюсь с разбега в мамин

колени, ужас, переполняющий меня, прорывается слезами. Вот моя мама, вот я! То было страшное видение. Дурной сон. Обморок. Ведь я на пляже так и не надела панамку. Вот солнце и напекло голову...

— Что с тобой, доченька? — спрашивает мама. Она приседает, ласково прижимает к себе. — Ты ушиблась, испугалась, тебя обидели?

— Там, там... — Рыдания все еще сжимают мне горло. Я бессмысленно тычу рукой в сторону самшитовой рощи. — Там страшно! Там страшно, мама!

ПРОХОДНАЯ ПЕШКА, ИЛИ ИСТОРИЯ ЗАПРЕДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Ах как грустно, когда злые слова разденут, будто Петер дерево, твой мир, и все в нем сожмется и замрет от холода. Как отчаянно человеку, когда горло захлестнет вдруг наглая правда! Туже петли, безнадежней рудушия.

К тому же во время постыдного бегства из квартиры Величко Иван Иванович Иванов где-то посеял мохеровый шарф.

Навстречу ему шла густая поземка. Она засыпала проплешины льда, а такси превращала в привидения с одним-единственным зеленым глазом на лбу.

Ивану Ивановичу хотелось плакать.

Только в детстве и только мама следила, чтобы он не простужался. Зная его разнесчастные гланды, она всякий раз повторяла: «Ваня, закрой наконец душу». Но мама умерла, и теперь Ивана Ивановича дважды в год сбивала с ног фолликулярная. Главреж Гоголев перпеть не мог бюллетенящих артистов. Называл их нетрудовыми элементами, а ему и вовсе обидное прозвище придумал — Ходячая Ангина. Сейчас все шло к третьей фолликулярной.

К Анечке Величко они зашли после премьеры как бы случайно. Впрочем, такие «случайности» случались довольно часто. Анечка жила в двух шагах от театра, кроме нее, в огромной трехкомнатной квартире обитала подслеповатая бабуся, которая за двадцать минут снабжала всю компанию запеченными в духовке «собаками»: на хлеб кладется листочек любительской колбасы и листочек сыру, сыр затем плавится... Квартира Анечки поражала Ивана Ивановича довоенным размахом — высокие потолки, лепные украшения, паркет, а ее хозяйка умиляла веселым нравом и неизменно добрым к нему отношением. С вечеринок Иван Иванович уходил, как правило, последним и с некоторых пор награждал себя правом целовать на прощание руку Анечки. Да что там говорить: в начале февраля, когда у Ани отмечали первую роль Оли Кравченко, Иван Иванович прощаться не захотел и руку целовать не стал. Он остался у Ани! Хоть мысленно, но остался и на другой день переживал и мучился, что все обо всем узнают. Упоительные фантазии будоражили его, будто хмель, золото воображения переплавилось с тусклой медью реальности, и он вполне серьезно удивлялся, как Анечка может оставаться спокойной после всего, что произошло.

И вот пришел этот наглый трусливый Аристарх и все разрушил.

Ноги Ивана Ивановича заплетались, видно, от горя, так как выпил он всего ничего. Автопилот памяти вел его домой.

«Не надо было заходить на кухню, не надо», — корил он себя, тоскливо поеживаясь от холода. Ну да, он был решителен, искал Анечку. На нем ладно сидела милицейская форма, а бок приятно отяжеляла кобура с бутафорским пистолетом. Он жил еще своей ролью — крошечной, на две фразы, однако финальной и, по замыслу Шукшина, весьма важной. Как же: только утихли на сцене страсти, только «энергичные люди» уселись за стол, чтобы отметить примирение Аристарха Петровича,

с этой холеной лошадыю Верочкой (луч прожектора уплывает в сторону, ложится на ворованные автопокрышки, и тут, как гром с ясного неба, как само воплощение неотвратимости наказания, является он, артист Иванов, и говорит свои две фразы: «Всем оставаться на своих местах. Предъявить документы!»

«Зачем же тебя, дурак, понесло на кухню?» — мысленно простонал Иван Иванович. Он снова увидел, как бесшумно приоткрывается дверь, а там... Возле плиты стоит его Анечка, а этот подлый жулик Аристарх, то есть Мишка Воробьев, жадно целует ей руку. Именно жадно! Это обстоятельство так поразило Ивана Ивановича, что он не сразу сообразил: свое гнусное занятие Мишка к тому же сочетал с не менее гнусными словами: «Как актер Ваня, конечно, сер, а как личность и вовсе бездарен...» Он обомлел. Он потянулся было к бутафорскому пистолету... Его даже качнуло от горя. Левый локоть ушел в дверь кухни. Матовое стекло разлетелось. «Сволочь! — жалобно крикнул он Аристарху. — Ты, подлец, давно в камере должен сидеть...» Выскочил в прихожую, схватил пальто, шапку...

Жалость к самому себе пронзила его так, что из глаз брызнули слезы. Иван Иванович остановился посреди проезжей части дороги, воздел руки и срывающимся голосом прошептал:

— Да, я ничтожество. Господи, убей меня! Или создай заново. Тварь свою...

За снежной заметью не было видно не то что лица господнего, но и неба. К тому же сзади библикнула машина, и Иван Иванович отскочил на тротуар. Память подсказала ему: монолог, который он только что провозглашал, — из второго действия «Черных кружев». Иван Иванович устыдился такого явного эпигонства и уже более твердо вошел в свой подъезд.

Лампочка в подъезде снова не горела. Ощупью взял из ящика почту, поднялся на третий этаж. Войдя в квартиру, Иван Иванович попытался пристроить пальто

на вешалку, но из этого ничего не получилось: петля оборвана, да и вешать некуда — крючки заняты всяким барахлом. Из зеркала на него смотрел взъерошенный капитан милиции в растерзанном кителе. Иван Иванович нервно хохотнул. Это тоже Аня. Уговорила его после спектакля не снимать форму, тебе, мол, лапушка, так идет. «Лапушка»... Надо же откопать такое слово!..

В почте между двумя газетами лежала брошюра в блестящей скользкой обложке. Иван Иванович сразу понял, что это пьеса. Двумя этажами выше жила Дора Павловна, заведующая литературной частью их театра, которая получала из ВААПa десятки драм, трагедий и разных там фарсов, размноженных на ротапринте. Многие годы Дора Павловна бескорыстно снабжала Ивана Ивановича новинками. То предлагала в театре, то бросала что-нибудь в его почтовый ящик. Единственное, что удивило сегодня Ивана Ивановича, так это качество копии. Он оторвал предохранительный целлофановый язычок, и брошюра легко раскрылась. От тонкой, как бы даже просвечивающей бумаги повеяло запахом хвои. На обложке значилось: «Проходная пешка, или История запредельного человека». Имя автора ничего Ивану Ивановичу не сказало. Зато, взглянув на год выпуска, он почувствовал легкое удовлетворение: 2978. Так всегда! Копии делать научились, а опечатки как были, так и остались. Пожалуйста, на тысячу лет вперед прыгнули.

Иван Иванович полистал брошюру.

Монопьеса. Обширные и очень подробные ремарки. Такие разъяснения — клад для режиссера. Точные психологические характеристики героя, передана динамика его настроения... Слова как бы завораживают... Они повторяются, будто во время сеансов внушения, гипнотизируют... Интересная композиция. Беспощадно детализированная проза переходит в жемчужную нить стихотворения и наоборот... Внутренние монологи... Раскованность... Какое-то волшебное расположение слов, Их

связывает определенный ритм... Символика пьесы весьма доступная: свобода воли, или, точнее, воля выбора. В шахматах и в жизни. Пешка вольна умереть пешкой, но может стать и ферзем. Если пройдет Пути! У героя пьесы это выход за пределы своей роли, своей личности, своей жизненной территории... Выход за пределы судьбы и наконец полное перевоплощение...

Иван Иванович судорожно сглотнул, оторвался от текста. Лицо его горело. Все волнения сегодняшнего вечера вдруг растаяли, исчезли. Странная пьеса неодолимо влекла его, в ней было нечто магнетическое, близкое, угаданное неведомым автором... Юрий Светов, этот шахматист-неудачник, инфантильный и угасший человек, во многом похож на него, Ивана Иванова. Так же безлик, неуверен в себе... Даже страшно становится — до чего похож. Но он взрывается. Его дух! Юрий Светов выходит за пределы своего унылого бытия и мышления. В нем пробуждаются источники света и силы. Откуда они?

Иван Иванович почувствовал, что его знобит. То ли от мороза, то ли от волнения... Он нашел на кухне остывший чай, налил полную чашку и залпом выпил. Затем опять раскрыл брошюру.

— Я знал человека,— прочел он вслух первую фразу, и его худощавое лицо озарила улыбка.— Мы были близки в то лето...

Иван Иванович понял; что полубезумный вечер кончился.

Начиналось новое действие. Начиналась безумная ночь.

Пьесу читать он закончил часа через полтора.

Все это время образ Светова жег ему душу, будто пламя газовой горелки. Мысли шахматиста ластились к нему, обволакивали, слова Юрия, имя его медом ложилось на язык. В очаровании этого образа, его внут-

реннем родстве с Ивановым было нечто непостижимое: он овладевал душой Ивана Ивановича так легко и естественно, будто всю жизнь они были единое целое, будто пьесу написали о нем, Иванове, о его будущем, о его выходе за пределы привычного.

Какой-то посторонний звук все время отвлекал его, и Иван Иванович наконец не выдержал и отправился на кухню, чтобы намертво закрыть ненавистный кран.

«Кап-кап, кап-кап, кап...»

Он бессмысленно покрутил головой, не понимая, где еще может так занудно вызванивать о жечь вода. Затем подошел к окну и все понял. С железной скобы, которую забыли срезать строители, свисала сосулька. Сосулька плакала.

«Значит, уже весна? — удивился Иван Иванович. — Куда-то вьюга девалась, тишина... Значит, пришла?! Значит, есть жизнь на Земле! Продолжается. Как же я не замечал?!»

В подтаявшем небе арбузной коркой плыл за невидимой водой месяц. Иван Иванович вдруг вспомнил голос Анечки — тревожный и одновременно обрадованный: «Ваня, стой!» Так она окликнула его в коридоре, когда он яростно рвал на себя пальто. Звон нечаянно разбитого им стекла опять зазвучал в памяти, смешался со звуками капли...

«Если мы завтра увидимся, — подумал Иван Иванович, — и если я прав, если ее голос сегодня в самом деле дрогнул... Я останусь! Навсегда! Перееду к Ане — и точка».

Ему захотелось действия, какой-нибудь конкретной работы. И света.

Иван Иванович включил все три лампочки своей дешевой люстры, зажег настольную лампу. Потом, сам не зная зачем, сдвинул к стене стол, стулья, свернул коврик. Комната сразу стала просторнее.

Юрию Светову, который уже обитал в нем, такая перемена декораций понравилась.

«Полки у тебя скучные,— заметил он, оглядывая жилье Иванова глазами его хозяина.— Давай займемся».

Книжные полки в самом деле громоздились весьма примитивно: две спаренные горки, по восемь штук в каждой.

«Разместим елочкой. И красивее, и ниши пригодятся».

— Запросто,— весело согласился Иван Иванович.— Мы с тобой умницы. Мировые ребята.

После реконструкции он жадно попил на кухне воды — разогрелся малость. Пил прямо из крана, вовсе не заботясь о своих «разнесчастных» гландах. Заодно полил цветы, о которых вспоминал чрезвычайно редко.

Зуд деятельности — незнакомый, пугающий — все возрастал. Он вдруг подумал, как славно можно отремонтировать хоромы Анечки, которые, кроме габаритов, ничем уже, право, не поражают, и пожалел, что у него нет телефона. Он тут же выложил бы ей эту потрясающую идею. И извинился бы перед Аристархом, то бишь Мишкой Воробьевым. Никакой он не жулик. Наоборот, честнейший малый и с Гоголевым часто цапается, потому как не любит подхалимничать. То, о чем он говорил Ане? Так ведь правду говорил! Надоела ему морда твоя луковая, нытье твое надоело, понял?!

Что-то в комнате все же не вписывалось в замысел Юрия Светова.

Иван Иванович бросил взгляд. Тот зацепился за угол зеленой продавленной тахты. За дверь ее, постылую! В угол! Однако тахта заупрямилась: те ножки, что от стенки, пробили в линолеуме две дыры и никак не хотели с ними расставаться.

— Сейчас,— пробормотал он, примеряясь.— Сейчас я тебя выкорчую.

Он уже осознал свое отношение к этой невзрачной тахте и убедился, что оно гораздо сложнее, чем, например, его отношение к Мишке Воробьеву. Сказать

про это чудовище «постылая» — значит ничего не сказать. Тахта наверняка еще помнила Любу, его жену, с которой он развелся шесть лет назад. Помнила Любу — значит, помнила ее предательство и неверность. Не то в прямом смысле слова, а более оскорбительное — неверие в него как человека, как личность...

Иван Иванович рванул тахту на себя. Ножки затрещали и сломались.

— Так тебе, зараза! — вскричал победно он.

Тахта знала его сны, а значит, знала его муки. Потому что только во сне он был по-настоящему счастлив. Много раз. Много раз душа его воспаряла над зеленым драпом, будто над огромной сценой, и он дрожал и пел, предчувствуя приход Джульетты, задышался от ревности вместе с Отелло и постигал мир глазами короля Лира. Как он играл! Кем он только не был! Проклятые, безвозвратные сны... Каждый раз невидимый зал стонал от восхищения, а он не мог сдержать горестный стон, когда просыпался. Ведь днем или вечером, в реальной жизни, он опять деревенел, костенел, можно сказать, околевал на сцене. Разгадав это, Гоголев неизменно поручал ему все роли покойников...

Иван Иванович метнулся на кухню, нашел там тупой туристский топорик и потащил тахту во двор.

Деревянная рамка загрохотала о ступени. Звук этот обрел в ночи особое нахальство: казалось, что сейчас проснется весь дом. Но держать рамку на весу ни Ивану Ивановичу, ни Юрию Светову никак не удавалось.

«Сейчас Чума выскочит», — подумал он, выволакивая тахту на площадку второго этажа. Чумой соседи и собственная жена называли мордатого Федьку из четырнадцатой квартиры. За чугунный прилипчивый нрав, грязный свитер и бешеные мутные глаза. Федька, как говорится, не просыхал. Чума свирепствовал в их дворе лет пять. Затем его крепко побили его же дружки, Федька поутих и в результате травмы потерял сон. Ивана Ивановича он явно не задирал, но за человека тоже

не считал — смотрел всегда глумливо, презрительно, а при встречах бормотал под нос ругательства.

В обычный день (вернее, ночь) Иван Иванович постарался бы побыстрее проскочить опасную зону. Однако Юрий Светов, чей образ уже прочно занял его мысли и сердце, остановился передохнуть как раз напротив четырнадцатой квартиры.

Щелкнул замок.

— Ты што, сдурел, клистир? — прорычал Чума, высовывая в коридор всклокоченную голову. Он включил свет и щурил теперь глаза от беспощадной голой лампочки.

Юрий Светов переложил топорик в правую руку, а указательным пальцем левой брезгливо зацепил и потянул к себе майку Чумы.

— Я тебе сейчас уши отрублю, — ласково сказал Светов, а Иван Иванович обомлел от восторга. — Выходи, соседushка!

Федька с перепугу громко икнул, схватился за майку, которая растягивалась, будто резиновая:

— Че... чего... фулиганишь!

Во дворе, в черной проруби неба, между крышами домов лениво кружились светлячки звезд.

Он, играючи, порубил возле песочницы доски, сложил щепки избушкой. Зажег спичку. То, что полчаса назад было тахтой, вспыхнуло охотно и жарко. Огонь встал ровень с лицом.

И тут он понял, что пришла пора прощаться.

«Тебе не больно расставаться? — спросил его Иван Иванович. — Я понимаю, ты увлекся образом, вжился в него... Но ведь это смерть личности».

Светов махнул рукой, улыбнулся:

«Брось, старик, не пугай сам себя. Это возвращение твое... Рождение!»

«Тогда прощай. Береги это тело. Оно еще ничего, но частенько болеет ангинами. Запомни».

«Прощай. Я запомню...»

Он увидел, как в пляшущем свете костра от него отделилась серая тень Ивана Ивановича. Еще более пугливая, чем ее бывший хозяин, нелепая и жалкая на этом празднике огня и преображения. Тень потопталась на снегу и, сутуля плечи, шагнула в костер. Словно и не было! Только пламя вдруг зашипело и припало на миг к земле, будто на белые угли плеснули воды.

Чума, который с опаской подглядывал из окна за действиями соседа, окончательно утвердился в своем мнении — чокнулся Иванов, не иначе! — и отправился в смежную комнату досыпать. Ну кто в здравом уме станет жечь посреди двора почти новую тахту? Да еще ночью.

Прежняя память, как и внешность, осталась. Она-то подсказала Юрию Светову, что Гоголев назначил на девять репетицию — разрабатывать мизансцены.

Он аккуратно сложил в портфель милицейскую форму, положил сверху кобуру и махровое полотенце. Затем выпил кофе — сказывалась бессонная ночь, — поискал брошюру с пьесой, однако не нашел и, махнув рукой на поиски, вышел из дому.

К утру опять подморозило.

Насистывая одну из мелодий Френсиса Лэя, Светов спустился к Днепру. Из огромной проруби, где обычно купались городские «моржи», шел пар.

«На первый раз не буду злоупотреблять», — подумал Светов, быстренько раздеваясь.

Сердце, все еще, наверное, принадлежащее Ивану Ивановичу, слабо ёкнуло, когда он осторожно ступил в ледяную воду — чтоб не намочить голову. Проплыл туда-сюда, отфыркиваясь и всхрапывая от удовольствия. Потом пробежался, до красноты растер себя мох-

натым полотенцем. Так же, как и раздевался, быстро оделся.

Часы показывали четверть десятого.

Светов, отбивая такт рукой, пружинящим шагом поднялся по Садовой и свернул к театру. Он обживал себя, будто жильцы новый дом. Дом ему нравился.

Гардеробщик, вечно сонный Борис Сидорович, который никогда не замечал Иванова, перед Световым встал и пальто его принял с полупоклоном, но несколько удивленно.

Юрий Светов тем временем пересек фойе, прошел два коридора и «предбанник» и вступил на сцену. Там уже свирепствовал главреж.

— Не хватало! — окрылся Гоголев. — Еще вы будете опаздывать!

Светов бросил взгляд. Глаза его удивились. Раньше они видели всегда что-нибудь одно: кусочек, огрызок окружающего мира. Теперь он увидел все разом: скупающую Веру Сергеевну, то бишь Елену Фролову, похмельного Аристарха — он подарил ему всепрощающую улыбку, Кузьмича, их единственного народного, который вяло жевал бутерброд. В стороне скучали остальные «энергичные люди». В отличие от Аристарха люди позавтракать не успели — на лице Простого человека крупными мазками была написана нечеловеческая тоска.

Где-то рванул сквозняк. По сцене прошел ветер.

— Полно вам, — сказал Светов главрежу. — Не суетитесь.

Кончиками пальцев он легонько подталкивал Гоголева за кулисы. Тот безропотно повиновался.

Сонечка, то есть Аня Величко, увидев его на сцене, побледнела.

— Что с тобой, Ваня? — тихо спросила она. — Ты заболел? Ты на себя не похож.

— Потом! — оборвал он ее. — Потом, любимая. У нас впереди целая жизнь. Еще успеем наговориться.

Он властно поднял руку, призывая к тишине, и обратился к артистам:

— Сегодня буду играть я, ребята. Для начала я расскажу вам немного о себе. Будем знакомы. Меня зовут Юрием. Юрий Светов...

Опять ударил ветер.

Закатное солнце, которое висело на старом заднике еще с прошлого сезона, вдруг оторвалось от грязной марли, заблестало, распускаясь огненным цветком, и взошло над сценой. А на бутафорском дереве вопреки здравому смыслу запели бутафорские птицы.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Лиза разложила персики, достала из сумки бутылку из-под пепси-колы и, оглянувшись, побрызгала товар водой. На пушистых шарах засветились крупные капли.

— Ранние, ранние,— позвала она двух курортниц в шортах, собравшихся, видно, на пляж.— Только что с дерева. С росой...

Товар Лиза предлагала сдержанно, без лишнего шума, так как давно заметила: если ведешь себя с достоинством, значит, хозяйка, а не балаболка, которой лишь бы с рук спихнуть. Балаболки вообще народ непутевый — просит шесть, а приспичит ей, так и за трешку уступит.

Горячая ладонь легла ей на спину — Лиза вздрогнула, выпрямилась. Конечно, никакая это не ладонь. Она уже знала этот взгляд. Только у него... такие сумасшедшие глаза. Они прожигают насквозь ее платье, и появляется ощущение руки — легкой, жгучей, наглой. Рука коснулась спины, бедер, и Лизу будто жаром обдало. Опять этот охальник! Что он себе позволяет!

Она гневно обернулась. Худощавый низкорослый кав-

казец тотчас поклонился ей. Лицо его просияло, губы сложились в улыбку.

— Здравствуй, сладкий булочка,— отозвался кавказец.

Лиза отвернулась.

«Хам,— наливаясь яростью, подумала она.— Не может чего другого придумать. Завел, как попугай: «Булочка, булочка...» Чтоб ты подавился».

Настырный кавказец появился на рынке дня три назад и сразу пробудил в Лизе неприязнь.

«И чего в Крыму ошивается? — сердилась она.— Есть свое море, свои клиенты, нет, его сюда принесло, черта кривоносого... Дело не в рынке. Если ты человек, то прилавка не жаль. Но уж больно нахальная эта залетная птица. Так и липнет, так и липнет, глазами раздевает. Тоже мне орел — хуже курицы!»

Покупатели вдруг пошли один за другим. Только успевай взвешивать да сдачу отсчитывать. Лиза знала это время. «Дикари» спешат на пляж, запасаются фруктами. Спешат, родимые, потому как позже и к воде не протолкнешься.

— Ранние, ранние,— повторила она.— Отборные! С росой...

Солнце поднялось выше — за домами вздохнуло и проснулось море. Торг ушел так же, как пришел. Лиза взглянула на часы — пора на работу! — сложила в сумку остаток персиков, килограмма три, и заторопилась, запетляла улочками.

В картинную галерею она, хоть и спешила, вошла как всегда приосанившись. В залах никого еще не было — полы натерты, прохладно. Ее рабочее место, старинный стул с подлокотниками, находилось в простенке-закоулке между двумя залами — чтобы оба просматривались. Впрочем, картины здоровенные да и сигнализация везде — чего их сторожить? Муж, который несколько раз заходил к ней в галерею, называл это место на украинский лад — «закапелок» и, смеясь, приговари-

вал: «Не знаю, как эти рисуночки, но тебя точно не украдут — стул-то привинченный».

Лиза села, облегченно вздохнула. Сторожить нечего, но Лев Давыдович, их директор, не любит, как он говорит, разгильдяйства. Потому и спешила — теперь вот сердце колотится. Взгляд привычно скользнул по залам, остановился на трех этюдах, которые висели напротив нее в простенке. Средний — она запомнила — назывался «Итальянский пейзаж» и изображал гондольера, чем-то похожего на кавказца. Такой же смуглый, худощавый, но, по всему видно, не наглый, а просто молодой и веселый: улыбается, направляя веслом легкую гондолу, напевает про себя...

Посетителей все еще не было.

Лиза достала газету, оглядевшись, расстегнула на кофточке несколько пуговиц, стала обмахиваться, чтоб остудить разгоряченное тело.

И вдруг что-то произошло. Ей показалось: сонный воздух картинной галереи вздрогнул, пахнуло сыростью реки, весло плеснуло и замерло, а гондольер вдруг приблизился на расстояние нескольких шагов, вырос до нормальных человеческих размеров и приобрел какую-то жуткую вещественность. Лиза, обомлев, заметила даже светлую родинку на щеке у парня, аккуратно подстриженные усы над четко очерченным ртом и смеющиеся глаза. Тут он увидел ее и несказанно удивился.

— О, Мадонна! — воскликнул итальянец и ступил навстречу Лизе. Лодка качнулась, и парень чуть было не свалился в воду.

Лиза поспешно запахла кофточку. Щеки ее ожерумянец.

— Синьора, милая! — Слова гондольер произносил иностранные, однако она каким-то образом понимала их. — О наконец-то вы заметили меня! Три года долгих я люблюсь вами... Ваш взгляд сковал движения рук моих, и челн все возвращается на место. Я не могу

уплыть, не получив от вас хотя бы слово. Меня сжигает неземная страсть.

— Я мужняя жена,— прошептала испуганно Лиза.

— Нет-нет,— перебил ее гондольер.— Святая вы, и с вас великий мастер Мадонны лик запечатлел для мира. Вы ходите на рынок как кухарка, а вам молитвы надо принимать. Ведь красота всегда посредник бога. Ваш жалкий муж вас вовсе недостоин.

— Но Колеенька хороший,— слабо возразила она.— Не пьет, не бьет, заботится о сыне... Еще год-два — и будут «Жигули»...

Лодка опять качнулась — плеснула волна.

— Синьора милая, послушайте вы Джино. Проснитесь наконец!

— Но я не сплю.

— Не спит ваш ум и тело заставляет ходить, работать, быть частицей малой машины жизни — вы лишь механизм. Ваш ум не спит, но сердце... не вставало. Вы мужняя жена, но вы любви не знали! Признайтесь, что я прав.

— Быть может, я больна? — Лиза встала, приложила ко лбу ладонь.— Мерещится такое, что стыдно рассказать подружке лучшей. В своем ли я уме?

— Вы вся в своем,— горячо прошептал Джино.— Вы светоч моих глаз, души томленье. Уже три года я молюсь на вас. В конце концов меня накажет церковь, ведь существо земное боготворю я больше всех святых. Велик мой грех, но он душе так сладок. Вы этот грех, и вы — мое спасенье!

Гулко хлопнула входная дверь.

Зыбкое пространство, соединившее на несколько минут картинную галерею и неизвестный уголок Италии, мгновенно сжалось до размеров этюда, волшебный свет, игравший среди волн, померк, и только сердце колотилось так громко, что, казалось, заглушит шаги Льва Давыдовича.

— Здравствуй, Андреевна,— поприветствовал ее директор.

Лиза молча кивнула. Голос куда-то девался. От страха или от дурного предчувствия — не к добру такие наваждения. Кавказец виноват — разбередил душу... Кому какое дело до ее жизни. Не хуже, чем у других! И этот... Джино. Что еще за имя? И слова его странные: «Вы мужняя жена, но вы любви не знали...» «Господи, о чем это я? Какие слова, какой Джино? Не было ничего! Задремала, видно, пригрезилось».

Оглянувшись, подошла к картине. Осторожно притонулась к шероховатому полотну и с испугом отдернула руку. Еще Лев Давыдович увидит! Гондольер на полотне улыбался, и Лиза принялась вспоминать — улыбался ли он раньше?

Весь день ее почему-то все раздражало. Бестолковые отдыхающие, которым все равно где проводить время — в картинной галерее или кафе-мороженом, разморенные солнцем иностранцы — три автобуса привезли, случайные вопросы и взгляды. Хотелось им всем что-то доказать, а что — и сама не знала. Что доказывать чужим людям? И зачем?

Дома накормила Генку, полистала его тетради — троечник растет, все бы на улице с ребятами гонял, вот и задают на лето — и неожиданно для самой себя разрешила двухнедельный конфликт с сыном:

— Езжай уже. Только чтоб от бабушки ни ногой, понял?!

Генка расцвел: завтра в Симферополь. Купит там недостающие триоды для усилителя, погоняет в футбол, а главное — обещанные бабушкой джинсы. Где-то в шкафу дожидается его голубая мечта — настоящий грубый коттон, фирменный знак...

— К отцу не приставай,— прервала мечты мать.— Поедешь автобусом. Прямо на первый рейс и чеши.

Николай приехал в полседьмого, привез из соседне-

го совхоза два ведра персиков. Ополоснул лицо, широким жестом указал на товар:

— Принимай, мать, привет от Кузьмича. Убытков ровно шесть тридцать. Берет только «пшеничной», стервец.

Муж уехал в таксопарк, а Лиза выключила телевизор и опять застыла над своими непонятными думами. Однако посумерничать не дали. Сначала пришла одна из четырех квартиранток — Тамила или Ольга, вечно она их путает, и попросила сковороду, затем в соседнем санатории завели музыку, и думать о чем бы там ни было стало невозможно.

Мельком выслушала Николая. Тот, вернувшись домой, сокрушался: «навару» сегодня кот наплакал, одиннадцать рублей, а крутился по городу как зверь. Сказала мужу о Генке — пускай бабушку порадуёт, заждалась, наверное. Потом смотрели программу «Время». Это тоже Николай приучил. Оно и правда удобно — газет можно не выписывать, все новости расскажут и покажут.

Легли рано, в полдесятого.

За открытым окном шелестели деревья. Танцы в санатории шли уже по второму кругу. Лиза знала, что у массовика там всего две кассеты и за вечер приходится крутить их раза четыре или пять. Но вот Лещенко запел ее любимую:

Улица моя лиственная,
Взгляды у людей пристальные,
Быть бы нам чуть-чуть искреннее...

Лиза тихонько поднялась, накинула халат, вышла в сад. Ночь так и не принесла прохлады. «Сбегать бы сейчас к морю», — подумала, вглядываясь сквозь ветки в огни танцплощадки. Подумала мельком, сонно, так как знала — никуда она не побежит. И поздно, и неудобно как-то — не девочка уже, сын вон в седьмой перешел...

За забором, в конце сада, слышался тихий женский смех. Мелькнуло белое пятно рубашки.

«Целуются,— без всякой горечи подумала Лиза.— Вот это реально. А то придумала какого-то сказочного Джино и сходишь с ума... Завела бы лучше хахаля. Вон и Софа советует, говорит: «Тебя сила распирает, силу гасить надо, а Николай твой только на счетчик и смотрит...» Легко Софе говорить — она уже все, что могла, погасила. Кукует теперь кукушкой...»

Лиза вернулась в дом, легла. Кровать качнуло, будто... лодку, смуглое лицо наклонилось над ней и пропало, потому что лодка вдруг поплыла, поплыла...

Она остановилась у входа в галерею, чтобы перевести дыхание.

«Может, попроситься в отпуск? — тоскливо подумала Лиза.— Я, наверное, устала — считай, четыре года без отпуска. То строились, то Генка болел... Что же это со мной? И к врачу с таким идти стыдно. Да и к какому врачу: невропатологу или, не дай бог, психиатру?»

Наваждение не отпускало ее уже вторую неделю.

Первые страхи как будто прошли. Она смирилась с Джино как с некой новой частицей своей жизни — странной, тревожащей душу. Когда гондольер «оживал» в минуты затишья, старалась не вслушиваться в его слова, не задумываться — реально ли происходящее или это только сон. Эти полусны-полуявь начинали даже нравиться ей, как и сам юноша, его пылкие взоры и речи.

Сегодня Лиза прибежала на работу раньше. На целых полчаса. Где-то в залах стучала ведром тетя Паша, уборщица. Чтобы не привлекать ее внимания, Лиза сняла босоножки, на цыпочках пробралась в свой закоулок.

Солнечное марево, струящееся из окон, привычно

дрогнуло. Исчез простенок, стул, река заполнила оба зала. Лодка Джино качалась рядом.

Увидев Лизу, парень вскочил с мешковины, которой прикрывал дно гондолы.

— Любимая, вы здесь?! Так рано! Вы? Отрада мне, безумцу. Сегодня злые ветры хотели челн угнать и наш союз разрушить. Не спал я эту ночь. Весло сожгло мне руки, но ваш приход — бальзам и утоление жажды.

— Какой союз? — удивилась Лиза. — Я вам не обещала...

— Вот знак его!

Гондольер бросил ей розу — большую, тяжелую, с капельками росы на лепестках.

— Покиньте вы меня, — прошептала Лиза. — Я в самом деле жалкая торговка. Влюбились вы в подобие мое. Иль в сон. А может, в отражение.

— Синьора, полно вам. Вы самая земная из всех богинь, что правят нашим миром. Слепой не жаждет так увидеть свет, как жажду я обнять свою Мадонну. Идите же в мой челн!

Он протянул Лизе руку, коснулся ее пальцев.

И тут в их мир ворвалось шарканье чьих-то ног.

— Ты чево тут, Андреевна? — послышался голос тети Паши.

— Сегодня. Жду... — шепнул Джино.

Мир реки сжимался, тускнел, возвращаясь на полотно.

— Когда же? — вскрикнула Лиза.

— Ровно в восемь.

Тетя Паша подозрительно осмотрела закоулок, заглянула даже под стул:

— Ты чево, девка, сама с собой разговариваешь? Или померещилось старой? Да ты, смотрю, как невеста — с розочкой, при румянце. Ой гляди, девка...

Вечер выдался душный. Квартирантки опять что-то жарили в летней кухне. Совсем некстати Лещенко на танцплощадке в который раз уверял всю округу:

...Нам не жить друг без друга!

Пересыхало горло. Лиза несколько раз пила охлажденную воду. Не помогало. Наверное, от духоты кружилась голова, в висках позванивало.

Наконец приехал Николай. Он долго плескался во дворе под краном, сокрушался, что никак не доведет до ума душ. Затем зашел в комнату, удивился:

— Ты чего без света сидишь?

Лиза промолчала.

— А я сегодня два раза в Керчь смотался,— довольно заявил Николай.— Одного полковника с семьей доставил и еще каких-то гастролеров. Петь там будут, что ли. Короче, два червонца наши.

За разговором Николай заглянул на кухню и удивился еще больше.

— Ты что, мать, забастовала? Я же как зверь. Пару пирожков на вокзале перехватил, и так весь день.

Он легонько потрепал жену по затылку.

— Может, приболела? Или дерябнула где?

Лиза оживилась.

— У Софы...— Она запнулась, так как не привыкла лгать.— День рождения у. Софы. Посидели после работы...

— А это уже басни,— нахмурился Николай.— Я же за рулем, мать. У меня нюх похлеще, чем у автоинспектора... Обсчитали, наверно, на рынке?

Лиза встала, достала из сумки деньги.

— Как посмотреть,— с улыбкой сказала она.— За двадцать минут все отдала. По три рубля.

— По три рубля? Да ты с ума сошла...

— Сошла,— легко согласилась Лиза.

Муж говорил что-то сердитое, она кивала, но не слушала. Потом из потока речи выплыло слово «спешила». Она кивнула:

— Спешила. На свидание спешила.

— Что ты дурочку строишь?! — заорал Николай.

Лиза опять улыбнулась, взглянула на часы.

— Коля,— спросила она,— а я похожа на Мадонну?

— На корову ты похожа! — зло ответил муж.

Она молча швырнула ему в лицо мятые пятерки, трешки, рубли, взяла сумку, стала укладывать туда белье, платья. Сверху на всякий случай положила теплую кофту.

— Что с тобой, Лиза? — Николай уже не ругался. В глазах его росло и ширилось удивление.— Куда ты собралась? Ты вся горишь. Может, вызвать «скорую»?

— Меня украли, потому горю,— нараспев сказала Лиза.— Он обещал украсть меня сегодня. Мы уплывем, как только восемь часов пробьют. Я ухожу.

— Лиза, опомнись! — Николай схватил ее за руки, заглянул в лицо.— Что с тобой?! Какие-то стихи... Что ты бормочешь?

Она рванулась.

— Пусти меня, постылый. Я тороплюсь! Меня ждался Джино.

Николай повалил жену, слабо понимая, что делает, стал вязать ремнем руки. У него с перепугу стучали зубы.

— Успокойся, Лизонька, успокойся,— приговаривал он.— Я мигом... Сейчас приедут врачи, сделают укол... Все будет хорошо, Лизонька. Тебя обязательно вылечат...

На всякий случай он связал ей и ноги. Затягивая узел, бормотал, заикался от ужаса, от непонимания происходящего, диких речей жены:

— Тебя вылечат, вылечат... Полежи минутку, Лизонька. Куда же ты рвешься?! Я только позвоню... сбегая...

Николай выскочил из дому.

— Решилась я и потому свободна! — крикнула ему вслед Лиза, стараясь зубами развязать ремень.— Удер-

живайте, мучайте меня, но помните — взлететь теперь могу я. Я сделала тот шаг, который отделяет унылое «хочу» от звонкого «могу».

Она заплакала — навзрыд, тяжело, повизгивая, будто раненый зверек.

— Решилась я, — шептала сквозь слезы Лиза. — Знайте все: решилась!

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ АТЛАНТОВ

— Выпей чаю, приятель. — Жюль отложил картон и уголь, вытер пальцы о мешковину, которой была прикрыта глина. — Эта старая перечница, мадам Боннэ, не топит в мастерской с понедельника, а ты все же раздет.

Марсель Делабар охотно опустил руки и сошел с деревянного помоста, на котором стоял, изображая Атланта. Чай был крепким. Хороший чай!

Скульптор разломил в крепких пальцах яблоко, подал Делабару половину. Коричневые семечки просыпались на пол.

— Вкусный чай...

Солнечный луч пощекотал мохнатую грудь Жюля, и он улыбнулся. За окном — март, воробьи сходят с ума, Луиза вчера забрызгала чулки, а к сентябрю он закончит работу, и этот красавец кузнец будет подпирать балкон новой ратуши; кроме того, он, черт возьми, получит денежки, а Луиза, если — ха! ха! — перестанет краснеть при встречах с мадам Боннэ, получит целую коробку новых чулок...

— Послушай, Делабар. — Скульптор отпил из чашки. — Под балконом, рядом с тобой, будет подружка — Кариатида. Ты, наверное, видел в городе... Так вот. Сейчас сюда подъедет одна знатная дама. То ли маркиза, то ли графиня. Мне, конечно, на ее титулы наплевать, но лицо — божественное! А шейка... Если бы ты



видел эту шейку, Марсель. Госпожа Натали! Нет-нет, госпожа Шейка! Представляешь,— Жюль захохотал,— сама напросилась позировать, блажь у нее такая. Три-четыре сеанса ваши, говорит, а я и за один готов ей ручки расцеловать.— Он замолчал, покачал в раздумье головой.— Понимаешь, приятель, женщина, даже каменная, должна быть женщиной. Терпеть не могу атлетических Кариатид...

Скульптор посмотрел на натурщика так, будто потерял нить разговора.

— Так что я тебе, в самом деле, хотел сказать? Ах да! Ты уж, приятель, при графине води себя деликатно. Помалкивай больше. Они любят обхождение. Понимаешь?

— О чем речь, сударь! — согласился Делабар.

У двери звякнул колокольчик. Жюль отставил чашку, ринулся встречать гостью.

«В кузнице сейчас обедают,— меланхолично подумал Делабар.— Если, конечно, хозяин не подбросил что-нибудь спешное... Горн постреливает угольками, тепло. Луи поджарил молодой свинины с луком. А дядюшка Раймон разливает в кружки вино...»

— Как здесь темно! — Женский возглас прервал его приятные мысли. Он машинально схватил сорочку, прикрыл обнаженный торс.

Делабар не сразу увидел госпожу Натали.

Сначала из полутьмы коридора показались белые бархатные туфельки, затем заструилось длинное атласное платье. Оно оказалось настолько узким в талии, что Делабару перехватило дыхание. За краем атласа, как бы минуя плечи, из двух маленьких полусфер вырастал белый стебель шеи. Вырастал и... возносился.

— Это что за дикарь, господин Жюль? — холодно и брезгливо спросила гостья.— Он подносит вам глину? Но почему он голый?

Делабар вздрогнул, как от удара, и мучительно покраснел. Его огромное тело, на котором пел и играл каждый мускул, вдруг стало уменьшаться, сжиматься, съеживаться, будто карнавальный шар, случайно пропкнутый шпагой. Он готов был провалиться сквозь землю, или превратиться в муху и улететь, или даже в таракана — юркнуть куда-нибудь, забиться в щелку. Но перед тем еще раз увидеть ее лицо!

— Ах, Делабар! — возмутился скульптор.— Как ты можешь?! Оденься сейчас же!

Делабар попятился в угол мастерской, где стояли глыбы камня и бочки, зацепил и с грохотом опрокинул табурет.

— Тысяча извинений, ваша милость.— Жюль кружил вокруг знатной дамы, не зная, куда ее усадить.— Моя бедная мастерская и... вы! Несчастливого Делабара

ослепило ваше несравненное лицо. Впрочем, посмотрите сами: каким тусклым и невзрачным кажется благородный мрамор рядом с вами.

— Вы льстец,— прервала его излишняя графиня.— И, судя по всему, преуспеваете в этом занятии больше, чем в своей профессии. Разве вы не видите, что я уже позирую?

— Момент, момент, сударыня! — Жюль схватил картон, уголь.— Я уже работаю. Ловлю, ловлю ваши черты, божественная Натали.

Молодая женщина стояла, полуобернувшись к окну. Марселю Делабару она показалась продолжением света, который пробивался через пыльные стекла, чем-то даже еще более чистым; так иногда, когда перестараясь подмастерья, возносятся к закопченному потолку кузницы голубое пламя, чтобы тут же исчезнуть.

Он одевался медленно и немо, стараясь даже случайным шорохом не спугнуть прекрасное видение. Его сжигали одновременно и стыд, и непонятная радость, будто подсмотрел недозволенное. Нечто похожее Марсель испытал в четырнадцать лет, когда пошел на речку позвать сестру и вдруг сквозь вербовые заросли увидел несколько нагих девушек, которые гонялись друг за дружкой, брызгались в воде и визжали от восторга.

— Да, искусство выбирает достойных,— со значением сказал Жюль, заканчивая очередной набросок.— Просто красоту — это ничто. Ваше достоинство оттеняет вашу красоту, наполняет ее скрытым смыслом...

«Как он говорит,— позавидовал Делабар и по-детски удивился: — Неужели Она так же ест, спит, как я или Жюль, неужели Она может, например, плакать или кого-нибудь обнимать? Неужели ее можно любить?»

Он устыдился своих мыслей и шагнул поближе к свету. Графиня стояла неподвижно, будто решила превратиться в изваяние без помощи скульптора. В сторону Делабара она даже не глянула.

— Сначала я всегда ловлю линию.— Жюль старался развеять молчание.— Ловлю настроение. А с камнем работаю потом, по памяти.

— У каждого ремесла свои тайны,— согласилась госпожа и досадливо передернула плечами.— Моя кухарка, например, часами может рассказывать, как она варит луковый суп.

Жюль оскорбленно замолчал. Заметив, как сияют глаза Делабара, он покачал головой. Не для тебя она, приятель, говорил его жест. И не терзай себя понапрасну, и думать про нее забудь.

Когда госпожа Натали ушла, Жюль бросил эскизы в угол и отправился к мадам Боннэ.

— Вот! — возвестил он, возвратясь в мастерскую, и потряс двумя бутылками вина.— Мне эта чертова кукла подпортила настроение... Сравнила — луковый суп! — проворчал скульптор, разливая вино.— А ты и уши развесил. Бархатных тувелек не видал?

Эту ночь Делабар спал плохо. В сновидениях его бродили какие-то тени, хозяин ругался и говорил, что надо больше молотом махать, а не бегать по мастерским художников, а затем, уже под утро, когда он выпил полкружки воды и снова уснул, дверь кузницы тихонько скрипнула, и к Делабару явился светлый ангел.

«Это вы? — прошептал Делабар.— Осторожнее, вы измажетесь. Здесь так грязно и много дыма. Как вы решились?»

Госпожа Натали загадочно улыбнулась, поманила его рукой: «Иди же ко мне, дикарь. Не бойся, иди! Я узнала, что в небесах назначено нам быть вместе. Всю жизнь. Иди же!»

Он ступил было к ней, но из горна вдруг взвилось пламя, преградило дорогу.

«Луи, Раймон,— позвал он друзей,— погасите огонь. Скорее. Меня зовут».

В ответ — хохот. Хохотали стены, черный потолок, смеялось и плясало пламя.

«Поторопись же, Делабар! — топнула ножкой Натали. — Я — судьба твоя».

«Она смерть твоя, — возразило пламя. — И вечная мука».

Делабар отстранил его, решительно шагнул к возлюбленной.

Пламя прыгнуло ему на грудь. Делабар вскрикнул и проснулся. Лицо жгло, будто крапивой, тело сладко ныло, и никак нельзя было понять: объединил или разъединил их во веки веков грешный и ясный пламень.

С утра зарядил нудный дождь. В мастерской стало еще темнее, а на южной стене проступило пятно от сырости. Ругая на чем свет стоит мадам Боннэ, Жюль собрал по углам щепки и разный хлам, разбил один из ящиков, в которых хранил эскизы, и с помощью Делабара растопил печку.

— Ты заметил вчера, какие у нее глаза? — спросил скульптор, устраиваясь на колченогом табурете. — У этой гранд-особы. Не заметил? Черные у нее глаза, приятель. Нехорошие! У меня теперь вся работа из рук валится. — Он глянул на Делабара, улыбнулся. — А ты чего такой хмурый? Может, Шейка приснилась, а? Да ты не красней, не красней. Я за показ деньги не беру. Любишься, коль есть охота, но что толку? Вот моя Луиза...

Звякнул колокольчик. Жюль, тотчас забыв о своей Луизе, побежал открывать дверь.

Наверное, этот ненастный день графиня из прихоти посчитала солнечным. Она не только заметила Делабара, но даже поздоровалась с ним. Делабар просиял. Он смотрел на нее, будто пес, преданно и влюбленно. Может, и вправду их души встречались во сне?

— Господин Жюль, — деловито заявила графиня, поправляя корону прически. — Я сегодня сокращаю сеанс.

У меня ожидаются гости, кроме того, мне надоело позировать. Весьма бессмысленное занятие. Я думала, что это будет интересней.

— Смысл есть,— хмуро возразил Жюль.— Разве вас не радует мысль, что ваше изображение украсит ратушу?

— Ах,— сказала госпожа Натали,— когда это еще будет. Да и кто будет знать, что Кариатида — это я!

«Я! Я буду знать! — едва не воскликнул Делабар.— Вместо церкви я буду ходить теперь к ратуше, госпожа!»

Графиня заметила его пылкий взгляд, холодно кивнула в сторону Делабара:

— Ваш подмастерье, господин Жюль, изнывает от скуки. В моем доме слуги всегда при деле и не пялят глаза на гостей. Тем более на дам.

Делабару от обиды свело скулы.

— Вы ошибаетесь, сударыня,— с ехидцей сказал Жюль.— Господин Делабар, правда, беден, но он не подмастерье и не слуга. Он свободный человек. И так же, как и вы, позирует для ратуши.

— Вы шутите?! — воскликнула графиня. На ее щеках зажегся гневный румянец.— Чтобы этот мужлан — и рядом со мной? В кошмарном сне — это еще куда ни шло.— Она на миг смутилась.— Но на площади, рядом со мной?! Ни за что! Вы просто шут, господин Жюль! С меня довольно. Прощайте!

Делабар замер.

«Она сказала — сон! Значит, было! Был огонь! Ведь только любящим сердцам провидение посылает одинаковые сны».

Хлопнула дверь.

— Вот и кончилась твоя любовь, приятель.— Жюль пожал плечами.— По этому поводу я схожу к мадам Боннэ за бутылочкой вина. Помянем все святое.

Сырое полотно с шумом полетело на землю.

— Надо отойти дальше,— посоветовал скульптор.

Мэр города рассмеялся:

— Ничего, господин Жюль. Перспективу мы позже посмотрим. Наверное, недаром говорят: художники показывают свои работы издали, чтобы скрыть изъяны и недостатки. Ну, ну, не обижайтесь. С заказом вы справились. Право, как живые.

Он запрокинул голову, всматриваясь в фигуры Атланта и Кариатиды.

— Мне нравится! — заключил мэр. — Вон какая она воздушная да капризная: ишь, отвернулась, не подступись, будто знатная дама.

— А как вам Атлант? — спросил скульптор, и довольная улыбка озарила его лицо.

— Глаз с нее не сводит,— засмеялся мэр. — А ему следует балкон поддерживать.

— Значит, поймал я их линию,— загадочно сказал скульптор и повернулся к мэру: — Означают ли ваши слова, сударь, что я могу получить вознаграждение?

— Сполна, мой дорогой,— ответил тот, любуясь Кариатидой. — И дополнительное тоже. За высокое умение, которое оживило сей камень.

Над черепичными крышами катилась полная луна. Часы, расположенные слева от балкона, который поддерживали Атлант и Кариатида, ударили с тупой и мертвой силой, возвещая полночь.

Низкий тугой звук толкнул Атланта и разбудил его. Тихий ток жизни вошел в каменное тело, и белый мрамор чуть-чуть порозовел. В следующий миг он увидел Кариатиду и вздрогнул от неожиданности — от уступа, на котором он стоял, откололся кусок штукатурки и обрушился вниз. Вне всяких сомнений, мастерство господина Жюля скрыло ток жизни и в изваянии Натали. Вне всяких сомнений, ее каменному сну тоже пришел

конец, но — гордая и надменная — она не подала и виду. Серебристый свет луны нерешительно касался ее обнаженной груди (господи, Жюль, зачем ты открыл ее всему миру?), струился по складкам мраморной одежды. Атлант поспешил отвести взор и впервые ощутил окаменелость своего нового тела, увидел нелепые бугры мускулов. Мысли его двигались крайне медленно. Прошла не одна неделя после пробуждения, пока он почувствовал и осознал свет и мрак, собственную неподвижность и многоликую жизнь города, которая протекала где-то там внизу — непостижимая и мучительно знакомая. Но то, что Натали по-прежнему не замечает его, презирает даже тень Атланта, он понял сразу, как только увидел ее рядом, с другой стороны балкона.

В этой жизни все было иначе. Время текло по улицам, здесь же, на уровне крыш, оно дремало, угадывалась только смена времен года — по наряду деревьев да еще по тому, что пролетало мимо балкона — дождь или снег. Годы здесь менялись чаще, чем дни. Настоящая жизнь измеряется событиями, сюда же только птицы залетали да иногда, весной, собирались на балконе кошачьи компании — петь серенады.

Атланту эта медленная жизнь нравилась. Медленная жизнь предполагала вечное занятие, и оно у него было. Он смотрел на свою Натали, и каменное существо его наполнялось обожанием.

Теперь он часто вспоминал свой сон. Им в самом деле назначено быть вместе. Вместе, да не совсем. В той, настоящей, жизни, он не сказал ей ни слова — так вышло, говорил всегда Жюль, — а нынче уста и вовсе немые. Но это не пугало Атланта. Он видит Натали, и рано или поздно ей надоест притворяться камнем, она оценит его верность и терпение. Неважно когда — через десять лет, через тысячу... Нет конца их странной жизни, и нет конца его терпению.

Так думал Атлант. Но иногда, в морозные ночи, обычная выдержка изменяла ему. Появлялось желание перс-

шагнуть, перепрыгнуть пространство, разделявшее их, прижать Натали к себе, прикрыть ее от стужи своим большим телом, согреть. Еще тоскливее было Атланту в метели. Снег разрастался, слепил глаза, его белая пелена скрывала Натали, и ему мерещилось самое невероятное: вдруг украдут ее или сама уйдет — горячка, недотрога.

Прошло много лет.

Однажды утром он заметил в переулке странную процессию: пегая лошадка тянула по мостовой телегу, на которой был установлен простой дощатый гроб; за телегой шли несколько старух и мальчик — видимо, случайно пристали, из любопытства. Траурная процессия приблизилась.

У ворот ратуши стояли какие-то люди и тихонько переговаривались. Он прислушался.

— Как ее судьба разорила, — вздохнула черноглазая цветочница. — Ни добра, ни тела.

— Графиней была, — подтвердил востроносый господин в измятой рубашке.

Атлант посмотрел вниз, на покойницу — худую, кривоносную старуху — и ужаснулся. Неужели эта безобразная старуха — Натали, его вечная любовь, его ненаглядная Шейка?! Нет, нет, нет! Привиделось, показалось! Нет!

Атлант поспешно глянул влево, на свою нынешнюю Натали, чтобы убедиться: Кариатида по-прежнему молода и прекрасна. Глянул и впервые за все годы встретил ее взгляд.

«Не смотри ТУДА! — говорил он. — Не смей туда смотреть!»

Атлант, как все немые, отлично знал язык взглядов, по едва заметному движению губ мог узнать произнесенное слово. Он понял высочайшее повеление и несказанно обрадовался — свершилось! — Натали наконец оттаяла. Не беда, что минутою спустя Кариатида вновь стала недоступной, как звезда, а ее надменный взгляд уплыл в пустое небо. Свершилось!

День тот, без меры знойный, тянулся будто год, потому что радость не измеряется временем, а живет сама по себе. К вечеру ветер пригнал по-азиатски лютую орду туч, сухие молнии несколько раз стеганули город, и хлынула вода. Не ливень, а именно вода, теплый бурлящий водопад, вмиг спрятавший дома и деревья. Под мышкой у Атланта беспокойно завозились ласточки. Они жили там уже четвертое лето, прилепив гнездо в расщелине между телом и стеной ратуши. Это были приятные соседи. Особенно Атланта умиляли птенцы, которые появлялись каждой весной и тыкались в его руку мягкими голодными клювиками. Получалось щекотно и смешно.

Ветер, наверное, изменил направление. Теперь балкон не прикрывал их, вода неслась везде, и Атланту вдруг показалось, что этот живой упругий поток объединил его с любимой, связал тысячами нитей дождя в одно целое. Нечто подобное пригрезилось, наверное, и Натали. Вспыхнувшая молния выхватила на миг ее лицо из мрака. Натали улыбалась.

После этого они стали здороваться по утрам.

Атлант терпеливо учил любимую разговаривать взглядами, едва заметными движениями каменных губ. Он рассказывал ей о кузнице, о Луи и дядюшке Раймоне, о том, как нашел его Жюль и уговорил позировать... Он рассказал ей также свой сон и попробовал передать, что он почувствовал, когда увидел ее в мастерской, о чем думал все эти годы. Он рассказывал ей все это эдак лет пятьдесят. Натали больше молчала, и Атлант уже начал побаиваться: вдруг состарится мрамор, а он так и не узнает, чем жила она, какие цветы и песни любила.

Прошло еще, считай, сто лет. Атлант и Кариатида стали приятелями, однако по-прежнему госпожа Натали оставалась для Марсея Делабара загадочной и непостижимой. Недоступной пониманию.

Все решил случай.

Сырым мартовским утром Атлант меланхолично наблюдал, как по его торсу медленно двигаются муравьи. Они давно проложили по нему свою большую дорогу и сновали туда-сюда по своим делам, а то скопом волокли добычу — какую-нибудь букашку или сухую травинку для строительных нужд. Многих из них Атлант уже различал и даже придумал им имена. Вот и сейчас пробежали два Новобранца, за ними проковылял Хромой кардинал... Пока Атлант забавлялся, внизу, на площади, вдруг послышались возбужденные голоса, грохнул выстрел, и к небу взвилась песня:

— Мы пойдем к нашим страждущим братьям...

Второй день город бурлил. Атлант видел ночью много зарев и костров на улицах, слышал непонятные слова и чаще всего — «коммуна». Что происходит?

Затрещали выстрелы. Люди на площади залегли, некоторые — он видел их сверху — спрятались за угол ратуши и стали отстреливаться.

Натали тоже следила за происходящим, и ему показалось, что она все понимает, но еще не решила, как ей отнестись ко всему этому.

Свинцовая пчела всегда найдет кого ужалить. Шальная пуля впилась Атланту в щиколотку. Брызнули осколки, часть ступни отлетела в сторону и, ударившись о выступ, упала на мостовую.

«Милый!» — вскрикнула Натали глазами, лицом, всем телом.

«Мне не больно, — ответил он. — Нисколько. Но что с тобой?»

Ее молочно-белую грудь вдруг пересекла трещина. Слева, там, где у людей сердце.

«Мне тоже не больно, — чуть дрогнули ее губы. — Я испугалась за тебя. Там что-то сжалось — и вот...»

После этого они прожили в любви и согласии еще сорок четыре года и несколько дней.

Утром пришли рабочие, за два часа собрали металлические леса, подготовили площадку для работы, инструменты и ушли.

Все бы ничего, но они зачем-то прикрыли фигуру Натали грубым полотном. Атланта обуял ужас. Зачем? Что они хотят с ней сделать? Почему набросили на ее лицо эту грязную тряпку?

После обеда на леса поднялись реставратор и два его помощника. Полотно с Натали сняли, и Атлант немного успокоился.

— Смотри-ка,— удивился реставратор.— Как живые! Безвестный мастер — и такое гениальное решение. Настоящая сюжетная сценка — «Усмирение гордыни».

— Дружок у нее серьезный,— согласился один из помощников.— Глаз с нее не сводит.

— С чего, маэстро, начнем? — деловито поинтересовался другой.

— Пожалуй, с этой красавицы,— сказал реставратор, любуясь Кариадитой.— Она меньше пострадала. Всего одна трещина.

Он достал из кармана маленькую металлическую линейку и воткнул ее в трещину, чтобы замерить глубину разлома.

«Убийца! — безмолвно вскричал Атлант.— Что ты делаешь! Прочь от нее!»

Одним нечеловечески мощным усилием он оторвал от свода руки и с грохотом, рассыпаясь на куски, бросился на обидчика возлюбленной...

...Рану на голове перевязали дважды, но повязка вновь просочилась кровью. Реставратор поморщился от боли, наклонился и взял из груды обломков кусок мрамора, который пять минут назад был лбом красавца Атланта.

— Кто бы мог подумать,— озадаченно сказал он помощникам,— что этот дьявол вдруг ни с того ни с сего обрушится?

ПОЛИВИТ

Она услышит мой голос и улыбнется. И повернет ко мне вдруг прозревшее лицо. «Оля,— скажу я,— здравствуйте, Оля». И добавлю свой традиционный вопрос: «Вы снова видели цветной сон?» Почему все же так получается — она видит цветные сны, а я — только черно-белые, да и те несуразные... «Не обижайтесь на судьбу, Егор,— скажет она ласково.— Лучше расскажите, какие эти листья. Я насобирала по дороге целую охапку...»

— Ох и надоели мне эти дежурства,— ворчит Славик.— Так и лето прошло...

Он стоит у стены-окна, смотрит на хмурую реку. Горошины дождя деликатно постукивают в стекло, мокрые деревья жмутся поближе к станции, и на пляже сейчас ни души. Это к лучшему. Когда солнце, когда Днепр буквально закипает от тел, Славика и вовсе заедает хандра. Он с угрюмым видом садится во второе кресло и от нечего делать подключается к Джордже. Этот однорукий румын, заядлый альпинист, подбирается нынче со своей группой к вершине Эвереста...

Я знаю, о чем Славик может сейчас распространяться до бесконечности. О том, что «Поливит», при всем уважении Славика к Службе Солнца,— архинеразумная затея. Поливит — много жизней. Так названа наша экспериментальная станция. Здесь установлено два аппарата, которые могут подключить мозг любого человека к сознанию одного из двухсот «актеров». Их отбирали долго, с такими придирками, какие не снились и космонавтам. Я втайне восхищаюсь нашими «актерами». Это люди кристальной нравственной чистоты и огромного духовного богатства. Одни согласились на эксперимент добровольно, других упростила Академия наук. Вы только подумайте, какое надо иметь муже-

ство, чтобы позволять каждому кому не лень жить, пусть и недолго, твоей жизнью. «Аактерами» их назвал какой-то остряк-самоучка. Действительно, о какой игре может идти речь? Просто живут хорошие люди. Живут красиво и чисто. А мы этим пользуемся... Мы говорим им: «Разрешите, я побуду немного вами...»

— Кого-то уже несет нечистая сила,— сообщает бодренько Славик.— И дождь ему нипочем.

Конечно, он грубит нарочно, но мне все равно неприятно. Коробит.

Старик был шустрый и разговорчивый. Он смешно, словно мокрый пес, отряхнулся у порога, заспешил к креслу.

— Вижу, первый сегодня. Повезло. Между прочим, я вообще везучий. Жизнь вспомню — ни одного дня не жаль. Все в удовольствие. А теперь решил посмотреть, как другие по-скользкой палубе ходят. Без кино чтобы. Из первых рук.

Старик мне сразу чем-то не понравился. Болтает много: «Все в удовольствие...» От такого гурмана и стошнить может. Я отвернулся и стал молча настраивать полив.

Это, Оля, кленовый листок. Маленький, будто детская ладошка с растопыренными пальцами. А вот потерянные медные пятаки. Да, да. Они сейчас висят на осине, как старая кольчуга богатыря. Это листья осины, Оля...

Господи, почему я уже полгода рассказываю тебе об осенней листве, о застенчивых — ведь они поэтому и мигают — звездах, о карнавальных нарядах цветов, что приткнулись в углу лабораторного стола, рассказываю обо всем на свете и не могу объяснить элементарное? Простое, как дождь. Объяснить, что я люблю тебя, Оля.

— Знаю, знаю. Все абсолютно безопасно, — пел дальше старик. — По инфору слышал. И что море удовольствия — знаю. Хочешь космонавтом стать — пожалуйста, спортсменом — пожалуйста, полярником — по...

— Помолчите, пожалуйста, — нейтральным тоном говорит Славик. — Вы мешаете нам работать.

Он уже надел старику на голову шлем с биодатчиками, и тот чуть испуганно косит глазом на панель, где пульсирует двести рубиновых зрачков. Двести нитей натянуто над миром, двести чутких струн... Тьфу, чепуха какая в голову лезет.

— Не считите нескромным. — Востроносенькое лицо старика напоминает сейчас маску многоопытного дипломата. — Может, есть что интимненькое? Нет, нет, — вдруг пугается он. — Я не то имел в виду. Что-нибудь такое, когда замирает сердце. Юность, очарование. Как писал поэт: «Я помню чудное мгновенье...»

— Такого не держим, — хмуро роняет Славик. — Кстати, распишитесь здесь. Напоминание совета Морали о неразглашении сугубо личных сцен, свидетелем которых вы случайно можете стать.

— Позвольте, — возмущается старик. — Я же не мальчик. И почему свидетелем? Участником...

Славик включает канал, и докучливый посетитель замирает с открытым ртом. Его уже нет. И слава богу. Откуда только такие берутся? Реликт, живое ископаемое, а не человек... Кто же он теперь? Я смотрю на надпись возле потухшего глазка. Композитор Денис Старшинов. Он недавно куда-то скрылся из Москвы. Говорят, заканчивает симфонию. Ну, давай, дедуля, хоть напоследок узнай, что означают слова — душа поет...

Старик тихонько стонет. Он полулежит в кресле: губы плотно сжаты, на лбу легкая испарина. Это не страшно. Реакции при контакте двух психик бывают самые

удивительные. И, кроме того, поливит действительно безвреден. Это уж точно известно!

А теперь вернемся к тому, о чем я только успел сообщить, но не объяснил. Архинеразумной затеей Славик, конечно, считает не сам поливит, а эксперимент по его широкому применению. То есть эту станцию на берегу Днепра. «У нас даже нет социального адреса, — горячится он. — Если поливит — новый вид искусства, то оборудуйте им все площади Зрелищ, и дело с концом. А ведь еще неизвестно, не сковывает ли он свободу личности «актеров», не заставляет ли добровольцев подыгрывать. Поэтому лучше вернуть аппарат ученым. Врачам и психиатрам он нужен для получения точных диагнозов. Старому океанологу поливит, скажем, позволит увидеть глазами ассистента извержение подводного вулкана. Калеки при помощи нашего аппарата смогут на время избавляться от своих физических недостатков. Глухие — услышат, немые — заговорят, а слепые...»

— Здравствуйте, ребята, — говорит Оля.

Этот старик так забил голову, что мы прозевали его приход: никто не выбежал навстречу, не помог подняться по лестнице. Оля стоит у двери и, улыбаясь, вытирает мокрое от дождя лицо, поправляет волосы. В этот миг мне кажется, что это дождь заставил ее зажмуриться. Сейчас Оля вытрет ладошкой лицо, откроет глаза... Но чудеса, увы, случаются только в очень хороших книгах.

— Я насобираала по дороге целую охапку листьев, — говорит девушка и протягивает пышный сентябрьский букет.

— А мы вас заждались.

Мой голос чуть-чуть фальшивит. «При чем здесь мы? — читаю я вопрос в хитрющих глазах Славика. Я, конечно, уважаю Ольгу, но заждался ее ты, Егор, ты».

Глупости это, Ольга. Нет во мне жалости, ни капли. И не ищи ее понапрасну. Разве потребность говорить и говорить с тобой — жалость? Разве то, что я вздрагиваю, завидя похожий силуэт, и сердце замирает, предчувствуя твой приход, похоже на жалость?

Ты снова напоминаешь о своей беде? О печальной ночи, в которой живешь. Ты боишься, Оля, что эта ночь потом испугает меня. Так нечестно, родная. Какое отношение имеет твоя слепота к моей любви?

— Это нас дед уморил...— рассказывает Славик и удачно имитирует просьбы посетителя, его «интимные» интонации.

— Я не поленился расшифровать в его медкарточке запись районного психиатра,— продолжает он.— «Потребитель. Психика стабильна, блокирована от нежелательных внешних раздражителей. Духовный мир беден. Комплекс удовольствий».

— Бедняга,— вздыхает Ольга. И уже тревожно: — Может быть, еще не поздно? Может, ему еще можно помочь?

— Ты думаешь, он поймет? — быстро спрашивает Славик.— Поймет, что всю жизнь был статистом, мешал другим, возмущал всех бесцельностью своего существования?

— Не знаю,— говорит задумчиво Ольга и подходит ко второму креслу.— Поливит — сложная штука. Сильного он окрыляет. Нет, наверное, ничего прекраснее, чем убедиться — люди высоки и чисты, ощутить сладкий вкус чужой жизни, согреться теплом друга. А вот слабого поливит может убить. Я, наверно, преувеличиваю...

— Что-то он поймет,— соглашаюсь я.— Хотя бы свое одиночество.

Время сеанса прошло. Старик невидящими глазами смотрит на нас, потом хватается за шлем, будто у него собираются отнять последнюю радость. Просит:

— Еще! И побольше людей. Если можно... Это удивительно... Горение, подвиг, счастье. Неужели это не только красивые слова?.. Если можно — покажите других... Как они?

Столько мольбы в его голосе, столько унижения, что меня всего передергивает. Я нажимаю второй клавиш.

На этот раз старик не сразу входит в контакт. Он ловит мою руку и снова шепчет:

— Еще!

И тогда Славик уменьшает время сеанса, переводит аппарат в автоматический режим. Это называется «эстафетой» — занятие утомительное, но интересное, даже чертовщиной отдаст. Ты словно в духа превращаешься, который облетает принадлежащие ему души... Щелк — прошло десять минут. Теперь наш старик работает в Индии на уборке риса. Управляет звеном комбайнов или лежит в тени, отдыхает. Щелк! Повар-программист одного из лучших ресторанов Парижа. Отец семи детей. Наверное, самый добрый человек в мире! Щелк! Путешественник-яхтсмен. Вместо крови — смесь перца и горчицы. Щелк!.. И ты все время молод и силен. Щелк! Щелк! Щелк!

Славик сварил кофе. По своему рецепту — с солью. Мы прихлебываем из неуклюжих керамических чашек, а Оля читает свои стихи из последнего сборника. Потом замолкает, поворачивает лицо в сторону кресла, где лежит старик, прислушивается.

Тот спокоен. То что-то забормочет, то всхлипнет протяжно, будто жалуясь, то улыбнется. Счастливо-счастливо.

Помнишь, любимая, свое первое счастье? Первый сеанс, когда ты плакала от радости, что наконец увидела мир. Ты кружилась по лаборатории, взмахивала руками — ловила и ни за что не хотела отпускать свою синюю птицу. Ты расцеловала тогда и меня, и Славика,

и даже шлем поливита. Мне тоже хотелось расцеловать эту удивительную машину, подарившую тебе весь мир, а мне — тебя.

Контакты у тебя получались неглубокие, чужой мозг не гасил твоё сознание. Кстати, разве я не говорил, что так бывает только с очень сильными людьми, большой воли? Так вот. Однажды я подключил тебя к испанскому рыбаку Артуро Васкесу. И ты начала читать чьи-то прекрасные стихи. О море, о звездах...

Море
смочило песок,
море взбегаёт на камни,
лизёт мои ступни,
как старый
ласковый пес.
Отбегаёт
и снова накатывает,
дышит,
роняет изо рта пену,
в которой влажно поблескивают
кристаллы звезд
и пузырятся песни матросов,
спящих на дне с женщинами,
чьи тела из кораллов и соли.

В тот день, Оля, я спросил тебя: «А почему вы никогда не пишете о любви?» Ты повернула ко мне сразу ставшее строгим лицо, помедлила с ответом.

— Это слишком высоко. Будто в горах. А там легко заблудиться и пропасть.

— О-ох,— протяжно стонет старик. Руки его мечугся, он побледнел, судороги сотрясают тело.

— Отключай,— испуганно командует Славик.

Он быстро делает старику инъекцию кардинизина. Мы видим, как плохо нашему раннему гостю, и уже раскаиваемся, что согласились на его уговоры. Почти три часа «эстафеты» — это не шутка.

Старик еще слаб. Он задыхается от злости, тоски, презрения к самому себе и шепчет:

— Назад! Верните мне молодость. Сделайте хоть что-нибудь. Я не хочу умирать таким, таким... Возвратите меня. Я хочу иначе. Начать все снова. Иначе... Возвратите!

Он опять требует. Но уже не зрелища, а невозможного. Требует спасения. Мы не волшебники, поймите это, милый дедушка. И простите эту странную машину — поливит...

Старик хлопнул дверью. Он еле идет, и его модные перламутровые ботинки загибают в лужах мертвые листья. Мне больно смотреть на него. Это тот случай, когда приходится разводить руками: поздно, жить будет, но душу спасти невозможно.

— Когда мы наконец засядем за отчет? — вопрошает ворчит Славик. — Три месяца! Три месяца сидим на этой станции и не можем уразуметь, что внутренний мир человека не может быть и никогда не станет общественным достоянием...

— Вы, наверно, устали, ребята? — робко спрашивает Оля. — Я ненадолго. Загляну куда-нибудь — и домой. Так хочется побыть зрячей, полюбоваться осенью.

И уже тревожно — ко мне. Ищет лицом, будто радаром:

— Вы не сердитесь на меня, Егор? А то все молчите и молчите...

Ласковая моя. Смешная девчонка. Несмышленин упрямый. Я мало знаю слов, в которые сразу веришь. Ну как тебе рассказать, что дождь уже кончился и стволы желтого света выросли в нашей роще? Что засыпает полуденным сном речка и вода тщетно пытается смыть у берега отражения багряных и золотистых крош. Как объяснить тебе, Оля, что сейчас мне тоже хочется писать стихи?

Вот что я сделаю. Не скажу тебе ни слова, а сяду в свободное кресло поливита и подключу твое сознание к себе... И тогда ты сама все поймешь. И узнаешь, почему я так упорно молчу.

Я словно невесомый. Словно хватил лишку молодого вина. Молча сажусь во второе кресло. Надеваю биопшлем. Лицо Ольги все еще ищет меня, ожидает ответа.
— Подожди еще минутку, Оля...— шепчу я.

МОСТИК ЧЕРЕЗ НОЧЬ

То была хорошо знакомая Антуану картина. Солнце стояло в зените и жгло землю зноем. Возмущенные сосны щедро стряхивали хвою, и она хрустела под ногами, словно пересохшее белье в крепких руках...

Кроме людей, в тени прятались самолеты. Их крылья вспоминали небо и временами вздрагивали то ли от незримых воздушных потоков, то ли от тайных желаний...

Воплощением полного покоя простиралось на востоке Средиземное море. День за днем оно смиренно дремало за широкими спинами скал...

Знакомая картина. Успевшая надоесть.

Антуану сказали примерно так: «Вы уже вдоволь налетались. Вы не имеете права так рисковать жизнью...»

Экзюпери ответил:

— Это невозможно. Теперь я пойду до конца. Я думаю, уже недолго.

Что он имел в виду? Не знаю. Спустя несколько дней Антуан добавил:

— Я нуждаюсь в этом. Я испытываю в этом одно временно физическую и душевную необходимость...

Что стояло за словом? Возможно, неудовлетворенность миром, в котором он столько страдал.

— Как твой малыш? — спросил Антуан и, неудачно наклонившись, поморщился от боли. Напоминала о себе давняя хворь.

Гавуалль смущенно улыбнулся и промолчал. Помог товарищу втиснуться в кабину, попросил:

— Будь осторожен, Экс. Кругом «фокке-вульфы»...

Тот махнул рукой. Ответные слова утонули в рокоте мотора.

Небо укачивало самолет, словно капризного ребенка. Руки привычно повторяли несложные движения пилотирования, а мысль умчалась далеко... Острая, как лучи беспощадного солнца: «Я слишком много требовал от этого мира. Я бил тревогу тогда, когда люди спали после сытного ужина, закрыв уши подушкой. Только бы не слышать, о чем говорят ветер, песок и звезды. Я сказал им в своих книгах много искренних слов, но кто гарантирует, что они не поставят их возле кроватей, будто красиво разрисованную ширму?»

Вспомнился позавчерашний вечер: стол, абажур, перо...

«Стоит ли писать о таком?» — подумал Антуан и обхватил голову ладонями. Это не принесло успокоения. Просто между его умом и этим безумным миром стали теперь ладони — между этим опасным миром, который уже не раз ранил его душу... Он вновь наклонился над горьким письмом:

«Любимая... В то время как я разгуливаю в небе Франции, — легли на бумагу слова, — я продолжаю оставаться зачумленным, и мои книги запрещены в Северной Африке».

...Откуда-то из середины неба неожиданно упал черный крест вражеской машины. Три пулеметные очереди вспороли утреннюю тишину. Плоскость моря перевернулась и начала медленно падать на самолет Антуана. Ударил еще одна очередь и подожгла окружающий



мир. Антуан даже не почувствовал — попала в него пуля или нет. Только мысли все вдруг смешались, и в их калейдоскопе промелькнуло:

«То была печальная пирушка накануне полета.

Я был создан, чтобы быть садовником... А Ошеле так и не успел попрощаться...

Мамочка, поцелуйте меня. Я впервые прошу вас об этом...

Мне кажется, что только в небе я научился чувствовать нежность звезд...»

Самолет опять швырнуло, и все стало на свои места. Только розовое пламя все еще пылало в глазах. Возможно, от переутомления или потому, что самолет па-

дал, а стрелка прибора показывала — из баков вытекают остатки горючего. Антуан занялся штурвалом. Самолет выровнялся. Мотор еще немного тянул, хотя и захлебывался, и кашлял страшно...

Солнце снова начало свои злые шутки. Оно расползлось на полнеба, и самолет из последних сил таранил его ослепительную твердь. Вдруг оно словно сжалось, заголубело, гигантским волчком крутнулось над ветровым колпаком и снова вернулось на свой пост.

Море куда-то девалось. Вместо него неумолимо приближалась земля. Антуан не мог хорошенько разглядеть ее, потому что солнце вдруг покраснело и сморщилось, будто печеное яблоко. И еще оно мешало ему направить машину так, чтобы не разбиться вдребезги.

...Он выбрался из-под обломков и сразу стал искать воду. Ее осталось немного — только смочить губы. Потом огляделся и, увидев вокруг лишь золотой песок, радостно прошептал:

— Сахара...

Когда за спиной прозвенел удивительно знакомый голосочек, Антуан даже не вздрогнул от неожиданности.

— Ты опять упал с неба?

Антуан подхватил Маленького принца на руки, и тот засмеялся, обняв его шею:

— И ты опять будешь исправлять свою неуклюжую машину? — спросил он, а потом добавил: — Я был счастлив, что приручил тебя за время нашей первой встречи. Хотя тебе, может, и приходилось после этого плакать. — Маленький принц вздохнул. — Мне тоже было грустно одному. Даже роза не могла утешить меня...

Антуан присел на обломок горячего жесткого крыла и сказал:

— Я написал о нашей первой встрече книжку. Но взрослые не поверили, что то была правда. Они назва-

ли ее сказкой, а сейчас они снова воюют, и им некогда читать сказки...

Маленький принц грустно улыбнулся. Он примостился на остатках разрушенной стены, которую Антуан поначалу не заметил и возле которой когда-то хотел застрелить гадюку.

— Мне жаль тебя. Но ты не очень расстраивайся. Ведь тебе поверили дети. Они вырастут и уже никогда не будут стрелять друг в друга.

— Наверное, ты, как всегда, прав,— ответил Антуан.

Они немного посидели молча. Краюшка солнца окончательно спряталась за горизонт, и на желтый песок опустились легкие сумерки. Маленький принц перевязал свой золотой шарф. Потом глянул на небо.

— Скоро высеются звезды,— сказал он, и у Антуана защемило сердце. Маленький принц почувствовал это, потому что вновь прозвенел его смех.

— Ну хоть теперь ты убедился, что ТО было не так уж и страшно? Я сам тогда позвал гадюку, и она помогла мне...

Летчик молчал. Маленький принц вскочил, подбежал к нему, заглянул в глаза:

— Тебе никогда не приходило в голову, что ты тоже с другой планеты? — Не обратив внимания на отрицательный жест товарища, он заявил: — Сегодня я заберу тебя с собой. Ведь ты тоже очень одинок. Да и к тому же не можешь возвратиться на своей машине домой...

Он обеспокоенно взглянул на небо, где уже появились первые серебряные блески, и добавил:

— Когда придем ко мне, ты, пожалуйста, дорисуй к ошейнику ремешок. А то твой барашек чуть было не съел мою розу.

Антуан кивнул, соглашаясь.

Маленький принц покопал туфелькой песок.

— Я знаю: ты сначала будешь тосковать о планете людей. Но нас ждут такие увлекательные путешествия.

И кроме того, когда-нибудь ты снова сможешь заглянуть сюда...

Он сделал несколько шагов по потускневшему от сумерек песку, засмеялся, будто зазвенело пятьсот миллионов колокольчиков, поманил Антуана рукой:

— Пойдем... Я знаю неподалеку мостик...

Они отправились в бесконечность песчаных волн. Ветер, разгулявшийся под вечер, приплясывал за ними, и маленькие следы принца переливались в следы Антуана... Потом и ветер утих, присел, грустя, на оставшийся обломок крыла. Как-то необычно быстро стала просыпаться заря.

И вот прошло сорок лет. Я еще никому не рассказывал эту историю — опасался, что ее тоже примут за сказку или за ее продолжение. Но теперь все же решил рассказать. Потому что, быть может, только я и догадываюсь, куда девался Экзюпери — ведь никто так и не нашел ни его самолет, ни тело...

Если вам случится бывать в тех краях, умоляю вас, не торопитесь, задержитесь, пока над пустыней не повиснет звездный купол неба. И если к вам подойдет высокий человек с необычным взглядом широко поставленных глаз, если на его округлом лице промелькнет смущенная улыбка, вы уже, конечно, догадаетесь, кто он. Тогда — очень прошу вас — не забудьте утешить мою грусть, поскорее напишите мне, что он вернулся.

ВЗЯТКА ХАРОНУ

В юности он посмеялся над гадалкой, которая, пообещав, как обычно, несметные богатства и славу, вдруг буквально впиалась глазами в его ладонь, забормотала, затем отпрянула испуганно, а на его настоятельные



расспросы только и сказала: «Твоя линия жизни... Она и не обрывается, но и продолжения ей нет. Где-то ты между землей и небом будешь обретаться, милоч. А такого не бывает...»

Теперь Адам убедился: не бывает, не может быть, ибо чели уже выплыл на середину реки, а он никак не мог разговорить проклятого старца. Да что там он! Вне всяких сомнений, среди миллионов, даже миллиардов пассажиров, которых уже перевез Харон, были самые замечательные люди: ученые и ораторы, властители земли и сладкоголосые певцы — служители всех муз... И никто... Господи, никто во веки веков не разжалобил этого истукана, более холодного и равнодушного, чем

черные воды Стикса. Не все, конечно, пытались. Души многих и многих умирали вместе с телом, то есть становились на этом последнем переходе слепыми и глухими, более мертвыми, чем само подземное царство. Но были ведь и сильные. Были смелые и хитрые. И бунтари были, в которых дух противоречия пылал ярче даже тех далеких костров, что горят на том берегу. Все напрасно! Будь проклят этот бессмертный старый козел — полуголый и безобразный, в вонючем рубище, глухой к мольбам и стенаниям. Вода будто смола — густая на вид, тяжелая. Весла входят в нее без звука, без брызг. Медленно и неотвратно движется челн. Времени здесь не ощущаешь, но оно, несомненно, есть и здесь — уходит, сжимается, поздно...

Ах, гадалка! Как ты ошиблась. Противоположный берег Стикса и есть конец линии жизни, хотя формально он, Адам, умер позавчера. Но почему перевозчик такой невозмутимый? Может, он глуховат и не слышит его?

— Я не хочу туда, старик, — сказал Адам как можно громче и убедительней, вынув изо рта монетку, чтобы не мешала. — Я большой жизнелюб, и мне нечего делать в царстве теней. Отпусти меня или дай хотя бы отсрочку.

Закончив говорить, Адам тотчас сунул обол обратно в рот, чтобы не нарушать погребальный обряд.

Старец молчал. Челн медленно двигался к Аиду, который отсюда виделся не столько зловещим, сколько беспредельно унылым: громады темных, пыльных деревьев, камни и скалы, возле которых прилепилась широкая башня с аркообразным входом, за ними снова деревья и нечто белое, клубящееся — туман или дым, а еще дальше, слева, в черно-зеленом полумраке проблескивают огоньки — там, должно быть, судилище и асфodelевый луг, где ему предстоит блуждать.

Адам опять достал обол изо рта. Харон взглянул на серебряную монетку, которую Адам купил перед смертью

у знакомого коллекционера. В выцветших глазах перевозчика промелькнула искорка интереса.

— Ага, заметил,— обрадовался вслух Адам.— Признаться, дружище, давненько тебе уже не платят за перевоз. Забыли обряд, забыли. А я заплачу. Столько заплачу, что тебе и не снилось. Только отпусти меня наверх. Да, люди называют это взяткой, но какое тебе, старче, дело до людей. Смотри...

Адам поспешно извлек из-за пазухи замшевый мешочек, развязал его. Даже в сиротском свете бриллианты затеплились, заиграли, как бы зашевелились на ладони.

— Здесь почти миллион...— Голос Адама дрогнул.— Я вложил в них все свои сбережения. Гонорары за репортажи, за книги... Три из них попадали в списки бестселлеров. Все... Все тебе отдаю.

Харон даже не взглянул на драгоценные камни, не повернул головы в его сторону. Будто и не слышал предложения.

Адам похолодел от ужаса. Он вдруг понял, насколько нелепа и смехотворна его попытка подкупить перевозчика. До него в этой ладье сидели миллиарды усопших. Если не всем, то многим хотелось продлить самообман бытия, а то и вернуться наверх... Главное — не попасть в Аид, не раствориться в несметном сонмище безликих стенающих душ, которые забыли землю и жизнь на земле — без всяких желаний слоняются они среди цветов асфodelа, еще более бледные и жалкие, чем эти дикие тюльпаны... Как же он раньше не сообразил, что Харона искушали уже миллионы раз. В этой лодке сидел сам Крез — где сейчас его печальная тень? Сидели императоры и фараоны, красавицы всех времен и народов, финансовые магнаты, величайшие ученые и Гомер... А он, несчастный писака, репортер и прожигатель жизни... Он вообразил себе, понадеялся... Впрочем, надеялись все. Все его предшественники. На милость, на случай, на удачу...

Адам бросил бессмысленный взгляд на обол, который все еще сжимал в руке, и швырнул монетку в реку. Зачем? К чему воскрешать древний обычай, забытый и бесполезный, как и все, на что он надеялся, о чем думал?

Тем не менее произошло чудо.

Старец повернулся к пассажиру, укоризненно прокрипел:

— Зачем нарушаешь обряд, человек? Впереди — судилище.

— Плевать! — почти выкрикнул Адам и поразился во второй раз: Харон оставил одно весло и вынул из уха кусок грязной то ли пакли, то ли ваты. Вот оно что! Выходит, перевозчик даже уши затыкает, чтобы не слушать мольбы и уговоры. Пергаментное лицо Харона было испещрено шрамами и царапинами, нижняя губа, которую не прятали седые космы бороды, — рассечена. Неужели?.. Еще на лице и на рубище какие-то белесые пятна. Они сливаются в странный налет, будто много раз падали капли грязной воды и высыхали.

— Ты угадал — плевали, — проворчал Харон. — Без счета. Сам видишь. А бабье морду царапало — все до глаз норовило добраться. Один римлянин мечом сдуру ткнул.

— Кто? — не сразу понял Адам.

— Такой, как ты. Любитель жизни.

— Не понимаю! Это ужасно... — пробормотал сконфуженно Адам. — Дикари какие-то.

Перевозчик неопределенно хмыкнул и отпустил весла, чтобы передохнуть.

— Телеса окончательно они там теряют. — Глаза Харона колюче стрельнули в сторону башни с черным провалом входа. — А здесь, бывает, ведут себя похлеще, чем на земле... Один лорд как-то отказался в лодку садиться. Грязная, мол, она, санитария нарушается. А зачем покойнику санитария?

Он задумчиво посмотрел на низкое слепое небо —

без солнца и ветра, которое едва прятало за зеленобурыми тучами каменную твердь свода, без всякого перехода спросил:

— Других, тех, кто богат безмерно, еще могу понять. Жалко им... А чего ты-то наверх рвешься? Что ты там оставил, кроме хлопот и суеты?

— Там жизнь...

Адам почти пропел эту фразу.

— Тебе не понять, дружище Харон. Точнее, долго слушать, а мне — долго рассказывать. Сущность жизни не в больших событиях, которые мы так или иначе ищем на земле. Я понял это, когда ходил с рыбаками на промысел. Давно, еще пацаном... Сущность жизни в маленьких радостях и безмятежности духа. Представь только один день. Обычный, заурядный... С вечера ты искупался и просыпаешься утром в чистой постели. Ранняя осень. За окном чуть тронутые увяданием деревья. Воздух ключевой свежести, но еще тепло, а днем и вовсе будет сказочно. Ты делаешь короткую зарядку. Затем легкий завтрак. О, я даже сейчас слышу аромат жареной свинины и кофе — только что сваренного, с огня. А как здорово пишется в утренние часы! Сначала слова просыпаются неохотно, кажется, даже видишь, как они зевают и потягиваются. Проходит время — они начинают понимать порядок и смысл, выстраиваются на бумаге все быстрее. Они уже толпятся, спешат овеществиться, даже мешают друг другу. И повинуются. Ощущение власти над ними ни с чем не сравнимо. Такое, может, переживал только Наполеон, когда он и армия составляли как бы одно целое... Ах, старик, разбередил ты мне душу!

— Не убивайся так, — сказал Харон. — Глотнешь разок из Леты — и все забудешь. Хитрая река... Без нее здесь сплошной плач да стон стояли бы... Ты рассказывай, рассказывай...

— Не хочу забывать! — зло сказал Адам. — Не для этого у тебя прошусь... Обо мне писали: «Неистовый

репортер». Это не только имя на первых полосах газет и дешевые книжонки, которые продаются во всех киосках. Это образ жизни. Я радовался всему этому, упивался, будто пьяница вином. Представь: ты славно поработал, бросил к чертям ручку, взял ключи от машины, спустился во двор. На сиденье напало листьев — пусть так и лежат. Как уговаривались, заезжаю за подружкой. Через полчаса мы уже в небольшом ресторанчике, где подают мясо с грибами и чуть терпкое красное вино. И музыка... В узенькой вазе на столе — астры. И все это — вино, приятная болтовня, медленные танцы, нежные прикосновения — разжигают огонь страсти. Нетерпение гонит вас к машине. Вы то и дело целуетесь в пути, рискуя врезаться в столб. Наконец, спальня... О, ты не знаешь, дружище, какая у моей подруги была спальня. Вся стена, которая напротив изголовья, — сплошное зеркало... И вдруг оказывается, что у меня рак. Это в сорок два года. Не нажился я, старче, понимаешь?!

Харон, как показалось Адаму, сочувственно кивнул, взглянул на часы.

Часы — хорошие, швейцарские — поразили Адама. Рубище, ладья, потусторонний старец и... этот механизм. Живой, тикающий, из того — реального мира.

— Зачем они тебе? — спросил Адам, указывая взглядом на часы.

— Надо ориентироваться, — туманно ответил перевозчик. — Работы много — видишь, какая толпа собралась, а я старый... Вот с тобой сегодня заболтался, а Гермес ночью новую партию приведет...

Адам на миг вернулся в прошлое, когда он оставил бесполезные консультации медицинских светил и окончательно распрощался с надеждой на выздоровление. За несколько дней он проштудировал целую стопку книг, в которых человек шел на тысячу уловок, создавая различные модели существования после смерти. Трудно сказать, чем конкретно привлекла его греческая

мифология. Может, тем, что она не пугала крайностями. Да, сумрачно, да, плохо, да, забвение желаний, то есть потеря личности. Последний постулат связывался с многочисленными древними и новейшими представлениями о том, что психическая энергия индивидуума растворяется в некоем всеобщем поле... Словом, он сделал выбор, купил обол и даже переехал в Италию, к озеру Аверн, где, по преданию, находится один из входов в Аид... Когда Адам однажды ночью вдруг осознал, что не спит, а идет, спотыкаясь о камни, по едва освещенной тропе, он понял: все произошло именно так, как он предполагал. Спуск занял около двух часов. Люди шли молча, ошеломленные случившимся, не зная — радоваться ли им, что полного небытия пока нет, или стенать о безвозвратно утерянном. Их шло человек пятьдесят, а может, и больше. Он различал только тени ближайших попутчиков. Время от времени кто-нибудь из женщин начинал плакать. Гермес грубовато подбадривал их, но и поторапливал. По-видимому, тропа не успевала пропускать всех усопших, однако вводить какие-либо новшества здесь или ленились, или их запрещал канон.

Плеснуло весло — Адам встрепенулся.

«Почему я ничего не предпринимаю? Противоположный берег все ближе, а этот старец и не думает мне помочь! Неужто все напрасно?! Все мои ухищрения, энергия, жизнелюбие... Неужто они не нужны этому миру? И зачем тогда душе иллюзия жизни? Чтобы погаснуть в лучах? Сначала стать бесплотной, затем равнодушной и беспамятной, то есть абстрактно мыслящей субстанцией, деталькой всемирной ЭВМ... Нет! Тысячу раз нет! Мерзкий старик, забывший вкус, цвет и запах жизни, чем тронуть твое сердце?!»

— Ну, что же ты молчишь, истукан?! — вскричал Адам. Ярость и ужас овладели им. Берег, истоптанный миллионами ног и потому похожий цветом на старую кость, был уже совсем рядом. — Опять ты молчишь... Придумай что-нибудь! Мне страшно. Я не хочу туда, к

теньям, на асфodelевый луг... Там молчание и полное забвение... Перестань грести, старик!

— Чудак,— проскрипел Харон.— Ты просишь невозможного. Не в моих силах вернуть тебе жизнь, человек. Ты умер и погребен. Еще никто из людей не восстал из гроба...

— Придумай что-нибудь! — Адам сполз с лавки, умоляя, протянул к старику руки. Колени его уткнулись на дне лодки в подстилку из мусора. Очевидно, там были отдельные волоски, упавшие с одежд странников в царство мертвых, пыль с их обуви, превратившиеся в прах случайные вещи.

— Я могу тебе кое-что предложить,— задумчиво сказал Харон, и подобие улыбки искривило его рассеченную губу.— Но вряд ли ты согласишься. Это не жизнь — та, твоя... Однако ты мог бы жить воспоминаниями...

— Согласен, на все согласен! — возопил Адам и стал рвать с груди мешочек с бриллиантами.— Уговорил-таки! Купил старика! — Он смеялся, как безумный, и не мог впопыхах ни снять мешочек, ни разорвать шнурок.— Только не к теньям!

— Не радуйся прежде времени.— Харон перестал грести.— И спрячь свои камни. Я уже говорил тебе: здесь они ничего не стоят.

— Что я должен сделать? — Адам замер, боясь разгневить всемогущего старца.

— Я устал грести без передышки. У меня болят руки. Кроме того, мне скучно. Все мои пассажиры или каменно молчат, или вопят и стенают. Садись рядом со мной — вот тебе весло! — и рассказывай мне о той жизни. Ты хорошо рассказываешь...

«Рядом с ним?.. Он что — издевается? Годами терзать себе душу воспоминаниями о радостях бытия, которые я так любил, и грести, грести, грести?! Сгорать в бесплодных мечтаниях о Невозвратном?! Только горячим воображением рисовать себе дружеские пирушки и объятия Евы?! Забыть, что ты был обласкан ми-

ром, богат, знаменит?! И все это — там. А здесь — вечное кружение между жизнью и смертью... Теперь мне ясно, почему давным-давно линия моей руки напугала гадалку... Самому, добровольно обречь себя на вечную пытку?! Нет, ни за что! Уж лучше судилище... Лучше глотнуть из Леты...»

— Так я и знал,— вздохнул Харон и пошевелил веслом. Челн опять двинулся к берегу.

— Нет, нет! — Адам вскочил на ноги. Челн качнулся, и это новое движение показалось непривычным и странным в мире тысячелетнего порядка.— Я буду грести. И рассказывать буду...

Старец молча пожал плечами, подвинулся. Лицо его опять стало бесстрастно-отчужденным.

Споткнувшись сначала о лавку, а затем о черпак, Адам поспешно ступил вперед, не сел, а буквально упал рядом с перевозчиком.

Харон двумя взмахами весла повернул челн к тому берегу, откуда они только что приплыли. Там по-прежнему стояла толпа, которую привёл Гермес. Души ждали своего череда, чтобы, преодолев воды Стикса, превратиться в тени.

«Пусть будут муки,— подумал Адам.— Любые... Адские! Пусть сжигает меня огонь памяти... Зато останется душа. Больная, кровоточащая — живая душа!»

— Что же ты? — спросил Харон и показал глазами на весло.

Адам ухватился за деревянную, отполированную до блеска рукоять. Тяжелое весло показалось ему необычайно легким. Небо над Аидом немного просветлело, и он подумал, что тут, оказывается, тоже возможны перемены, а значит, и движение жизни. Пусть малюсенькое, едва заметное, как дыхание спящего ребенка, но достаточное, чтобы противостоять тлену и вечности. Живой душе нужен, конечно, весь мир, но она умеет довольствоваться и крохой. А если не умеет, то научится...

Впервые за время пребывания в подземном царстве

Адам улыбнулся. Он глянул на старика с рассеченной губой и как бы невзначай сказал:

— Вы знаете, дружище Харон, прошлым летом я попал в Испанию. Совершенно случайно, без гроша в кармане, без документов. Забавнее ситуацию трудно даже придумать. Так вот... Выхожу я из самолета...

Перевозчик наклонил голову, чтобы лучше слышать. Весло его стало вздвигаться реже, а затем старец и вовсе бросил рукоять. Он опустил натруженную руку в воду — остудить горящие мозоли, а другой погрозил роптавшей на берегу толпе.

Адам тоже глянул на бывших попутчиков в царство Аида.

На берегу происходило нечто невообразимое.

Люди оживленно жестикулировали, что-то кричали — он не мог еще разобрать слов, а одна женщина даже зашла по колени в черные воды Стикса и размахивала то ли шалью, то ли белым платком.

У Адама защемило там, где при жизни было сердце. Он не знал, что разволновало людей на берегу. Радуются ли они, что хоть один из них откупился у грозного старца, или завидуют и проклинают. Теперь уже не только Харона, но и его.

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Танцы по-нестинаарски	6
С той поры, как ветер слушает нас	58
Повесть о трех искушениях	140
Место для Журавля	165

Рассказы

Мастерская для Сикейроса	196
Как горько плакала Елена	206
Проходная пешка, или История запредельного человека	213
Итальянский пейзаж	224
Частный случай из жизни Атлантов	234
Поливит	247
Мостик через ночь	255
Взятка Харону	260

Панасенко Л. Н.

- П16** Мастерская для Сикейроса : Сборник науч.-фантаст. рассказов и повестей.—М.: Мол. гвардия, 1986.—271 [1] с., ил.—(Б-ка сов. фантастики)
80 к. 150 000 экз.

Планета запрограммирована как произведение искусства... Большая совесть материализуется вдруг в Черного человека, а разумный Смерч влюбляется в земную женщину... Фантастические повести и рассказы украинского писателя Леонида Панасенко отличаются вниманием к загадочным явлениям природы и мотивам поведения героев в экстремальных ситуациях в век НТР, психологизмом и лиричностью.

П 4702010200—293
078(02)—86 170—86

ББК 84Ук7

ИБ № 4616

Леонид Николаевич Панасенко
МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ СИКЕЙРОСА

Редактор В. Фалеев
Художник А. Семенов
Художественный редактор Б. Федотов
Технический редактор Н. Баранова
Корректоры Л. Четыркина, И. Тарасова

Сдано в набор 13.06.86. Подписано в печать 23.10.86. А 12718. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 11,9. Условн. кр.-отт. 12,32. Учетно-изд. л. 12,3. Тираж 150 000 экз. (1-й завод 50 000 экз.). Цена 80 коп. Изд. № 1467. Заказ № 6—193.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21.

Полиграфкомбинат ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес полиграфкомбината: 252119. Киев-119, Пархоменко, 38—42.

80 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

